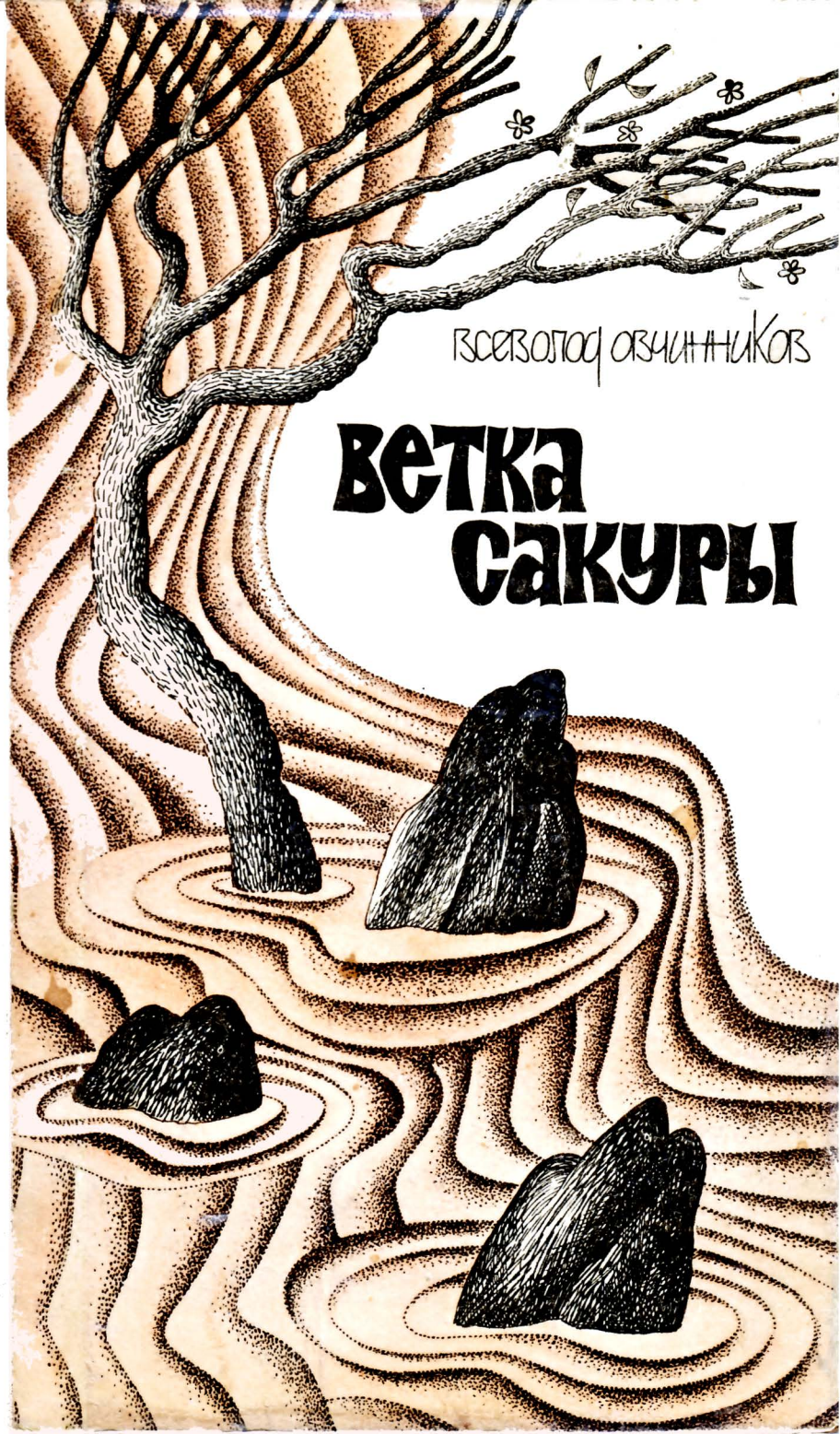


В. ОВЧИННИКОВ · ВЕТКА САКУРЫ

Рисованная орхидея

ВЕТКА САКУРЫ







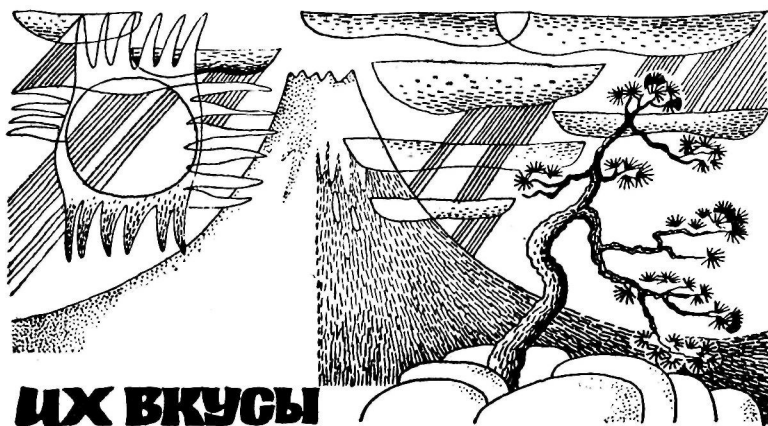
РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО
ЗА ЛЮДИ ЯПОНЦЫ.

ISCELSAOTIQ ORUHHUKORS

REIKA
REIKA

AKYPI

321
035



ИХ ВКУСЫ

Страницы из дневника

За тонкой раздвижной перегородкой послышались шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, в соседнюю комнату вошли несколько человек, судя по головам — женщины. Рассаживаясь, они долго препирались из-за мест, уступая друг другу самое почетное; потом на минуту умолкли, пока служанка, звякая бутылками, откупоривала пиво и расставляла на столике закуски; и вновь заговорили все сразу, перебивая одна другую.

Речь шла о разделке рыбы, о заработках на промысле, о кознях приемщика, на которого им, вдовам, трудно найти управу.

Я лежал за бумажной стеной, жадно вслушиваясь в каждое слово. Ведь именно желание окунуться в жизнь японского захолустья занесло меня в этот поселок на дальней оконечности острова Сикоку. Завтра перед рассветом, что-то около трех утра, предстояло выйти с рыбаками на лов. Я затеял все это в надежде, что удастся пожить пару дней в рыбацкой семье. Но оказалось, что даже в такой глуши есть постоянный двор. Меня оставили в комнате одного и велели улечься пораньше, дабы не проспать.

Да разве заснешь при таком соседстве! Я ворочался на тюфяке, напрягал слух, но смысл беседы в соседней

комнате то и дело ускользал от меня. Никто в моем присутствии не стал бы говорить о жизни с такой откровенностью, как эти женщины с промысла, собравшиеся отметить день получки. Но, пожалуй, именно в тот вечер я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев. Много ли толку было понимать их язык — вернее, слова и фразы, если при этом я с горечью чувствовал, что сам строй их мыслей мне не постижим, что их душа для меня пока еще потемки.

Была, правда, минута, когда все вдруг стало понятным и близким, когда охмелевшие женские голоса стройно подхватили знакомую мелодию:

...И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек...

Как дошла до них эта песня? То ли их мужья привезли ее из сибирского плена, прежде чем свирепый шторм порешил рыбацкие судьбы? То ли эти женщины овдовели еще с войны и от других услышали эту песню об одиночестве, ожидании и надежде, до края наполнив ее своей неутолимой тоской?

Снова звякали за перегородкой пивные бутылки; та утихала, то оживлялась беседа. Но я уже безнадежно потерял ее нить и думал о своем.

Конечно, вдовы — везде вдовы. Но люди здесь не только иначе говорят; они по-иному чувствуют, у них свой подход к жизни, иные формы выражения забот и радостей.

Смогу ли я когда-нибудь разобраться во всем этом?

Еще в детстве читал, что вечерний Париж пахнет кофе, бензином, духами. А попробуй-ка описать, чем пахнет по вечерам бойкая улица японского города!

На углу переулка, сплошь светящегося неоновыми рекламами питейных заведений, примостилась старуха с жаровней. На углях разложены растробом вверх витые морские раковины, в которых булькает что-то серое. Рядом с плоской вяленой каракатицей и еще какой-то пахучей морской снедью пекутся в золе неправдоподобно обыденные куриные яйца.

В двух шагах — знакомая еще по Пекину машина, которая перемешивает каштаны в раскаленном песке.

А вот напоминающий о пионерских кострах запах печеной картошки. Он исходит от сложного сооружения, похожего на боевую колесницу. Там тоже жаровня с углями, а над ней, как туши на крюках, развешаны длинные клубни батата. Выбирай и любуйся, как при тебе их будут печь.

Из кабре «Звездная пыль» выпорхнула женская фигура. Примостившись на краешке какого-то ящика, чтобы не измять серебристого газового платья с невысказанным вырезом на груди и спине, девушка, по-детски жмурясь от удовольствия, торопливо ест дымящуюся картофелину. А старуха торговка тем временем заботливо прикрывает чем-то ее оголенные плечи — то ли от вечернего холода, то ли от взоров прохожих.

Был сегодня на фестивале популярных ансамблей и вынес оттуда незабываемое впечатление о том, что видел и слышал — не столько на сцене, сколько в зале.

Создатели самых модных, самых ходовых пластинок состязаются здесь в каком-то невысказанном темпе. Солистка еще только берет финальную ноту, еще не видно конца неистовства ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы и тут же выталкивает следующий ансамбль, который также играет вовсю, но уже что-то свое.

Новоиспеченные кумиры года сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Ни секунды передышки от барабанной дроби и аккордов электрогитар.

Но шумовые каскады, низвергающиеся со сцены, ничто в сравнении со взрывами неистовства, от которых ежеминутно сотрясается зал. Никогда не думал, что можно с таким исступлением визжать и топтать ногами на протяжении двух часов подряд.

Неужели это те самые японские девушки, которые славятся образцом грациозности и сдержанности, безукоризненного контроля над проявлением своих чувств?

Вот толпа совершенно обезумевших поклонниц кидается к сцене, расталкивая друг друга. Десятки рук с подарками тянутся к длинноволосому идолу. Какая-то девица протиснулась вперед с гирляндой цветов, но никак не может дотянуться до певца. Тот великодушно делает шаг к самому краю рампы и слегка нагибается.

Но в тот самый момент, когда поклоннице наконец

удается набросить цветы ему на шею, в гирлянду вписываются десятки рук. Заарканенный кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визжащих поклонниц, которые, словно стая хищных рыб, начинают буквально рвать его на части, чтобы заполучить хоть какой-нибудь сувенир.

Досыта насмотревшись подобных сцен, я пополнил перечень необъяснимых парадоксов Японии еще одним пунктом.

Казалось бы, столь падкая на крайности западной моды нынешняя японская молодежь уже полностью отошла от нравов и обычаев старшего поколения.

И тем не менее, когда приходит пора свадьбы, каждая из этих иступленно визжащих, растрепанных девиц вновь превращается в образец кротости, смирения и покорности. Став невестой, она как бы вновь присягает законам предков. Проявляется это не только в том, что вопреки какой бы то ни было моде ее наряд и прическа будут такими же, как у красавиц, которых когда-то избражал на своих гравюрах Утамаро*.

Куда важнее, что эта верность заветам старины проявляется в покорности родительской воле. Ведь то самое поколение, за вкусами которого столь пристально следят и капризам которого своскорыстно потворствуют производители грампластинок, владельцы телестудий, кинотеатров, домов моделей; то самое поколение, которое, казалось бы, само выбирает себе кумиров и низвергает их, — это поколение донныне продолжает мириться с отсутствием права выбора в самом важном для человека вопросе — в вопросе о том, кто станет его спутником жизни, отцом или матерью его детей.

И как бы ни бросались в глаза ультрасовременные черты в облике японской молодежи, все же две трети браков в этой стране до сих пор совершаются по сватовству, то есть по выбору родителей.

Все в Японии: от школьников до престарелых крестьянок — привыкли совершать путешествия коллективно, шествуя стройной колонной за флажком экскурсовода. Исключение составляют только молодожены. Эти держат-

* Японский художник (1753—1806 гг.), прославившийся как создатель цветных гравюр на дереве.

ся подчеркнуто отчужденно и деловито перелистывают книжечки наподобие зачетных, откуда надо вырывать талоны на посещение музея, парка или храма, на поезд, автобус, на гостиницу и так далее. Такими книжечками их снабжает туристское бюро, чтобы, уплатив вперед за все свадебное путешествие (обычно трех-пятидневное), можно было больше не думать о деньгах.

Молодоженов сразу отличишь и по штативу для фотоаппарата, который они всюду таскают с собой, чтобы сниматься вдвоем на фоне достопримечательностей. И хотя у каждого такого места непременно сталкиваются несколько новоиспеченных супружеских пар, почему-то никогда не увидишь, чтобы они делали снимки друг для друга на основах взаимности.

Впрочем, есть у молодоженов еще более характерная примета. Все на них: от шляпки на невесте до ботинок на женихе — всегда безукоризненно новое, пусть даже недорогое, но непременно только что из магазина.

Вместе со мной в вагоне экспресса ехали уже три пары молодоженов, когда я обратил внимание на четвертую. Большая толпа провожала их на перроне, видимо, сразу же после свадебной церемонии.

Поезд тронулся. Невеста, статная, необычно высокая для японки, сняла и аккуратно сложила пальто, прикоснулась рукой к своей пышной прическе и удобно усадась у окна.

Рядом с нею жених выглядел тщедушным. Багровый после свадебного пиршества и волнений, он чувствовал себя стесненно: бесцельно шарил по карманам, вертел головой, то и дело поправлял галстук и, наконец, закурил.

Судя по всему, они вообще впервые оказались наедине друг с другом, и затянувшееся молчание тяготило обоих. Вот она взглянула на него приветливо, и он ожил, расцвел и вдруг, словно осененный, полез наверх за дорожной сумкой. Он извлек оттуда пачку бумажных листов, похожих на дипломы, какие у нас дают победителям спортивных состязаний, или на облигации: красные, синие, зеленые узоры обрамляли надпись посередине.

Перебирая эту пачку, молодой супруг принялся что-то с жаром объяснять своей спутнице. Его скованность как рукой сняло — ошалелое выражение исчезло, лицо стало осмысленным, даже, пожалуй, влюбленным, когда, достав золотое перо, он принялся вписывать по несколько слов

в каждую из бумаг. Полюбовавшись листком, он передавал его жене, брался за другой и снова что-то объяснял и надписывал. А она, украдкой следя за его движениями, лишь негромко смеялась, прикрываясь тыльной стороной руки, и опускала глаза.

Так все бумаги до одной перешли в руки молодой женщины. А он заложил ногу за ногу и снова закурил, но уже не нервно, а удовлетворенно и, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за своей соседкой.

Наблюдал и я: что же будет дальше? Скорее всего это акции, полученные ими в приданое. Тогда она их посмотрит и вернет.

Женщина, видимо, тоже была в нерешительности. Несколько раз она обмахнулась пачкой, как всером, но потом это показалось ей, наверно, непочтительным, и она стала молча перелистывать их.

Он протянул руку — нет, не затем, чтобы взять листки, а лишь для того, чтобы разыскать среди них один и чем-то особенно выделить его, а затем опять, теперь уже демонстративно, протянул женщине всю пачку.

Она постучала ими по коленям, выравнивая листы, а потом задумчиво сложила стопку вдвое. Я слышал, как щелкнул замок ее большой черной сумки.

Через несколько минут муж уже дремал, как и все молодожены в этом поезде. Голова его четко вырисовывалась на белом чехле кресла чуть повыше плеча спутницы. Ее глаза были открыты и смотрели вдаль. Случайно поймав в оконном стекле свое отражение, она улыбнулась ему и инстинктивно поправила волосы.

Тишину токийского переулка, где я живу, по утрам первыми нарушают велосипедисты. Вот остановился молочник — слышно, как брякают бутылки у него на багажнике. Через несколько минут опять кто-то затормозил. Потом еще и еще. Велосипеды у всех старые, дребезжат отчаянно. Пока прислушивался, насчитал семь человек. Ну хорошо, разносчик привез молоко, почтальон — газеты. Кто же остальные?

Однажды надо было в шесть утра ехать на вокзал. Решил захватить с собой газеты. Вышел к почтовому ящику — он еще пуст. Но как раз тут из-за угла лихо вырулил велосипедист, затормозил и протянул мне «Иомиури».

— А где же остальные газеты? — удивился я. — Мы ведь выписываем еще и «Асахи», и «Майнити», и «Санкей».

— Не беспокойтесь, они сейчас подъедут, — улыбнулся паренек. — Ведь мы все начинаем развозить газеты в одно время. Раньше нельзя — соглашение!

И действительно, в переулке вскоре появилась вереница велосипедистов, каждый из них бросил в мой почтовый ящик по одной газете.

Мне еще раньше было известно, что газеты ЦК КПЯ — «Акахату» доставляют подписчикам не почтальоны, а активисты местных ячеек. Это было легко понять. Не всякий читатель коммунистической газеты хочет, чтобы его имя и адрес сразу же стали достоянием полиции. Но какой смысл коммерческой прессе — всем этим «Асахи», «Майнити», «Иомиури» отказываться от услуг почты и дублировать друг друга? Ради чего каждая из этих газет предпочитает иметь свою собственную систему распространения?

— Волей-неволей приходится повсюду содержать свои конторы, чтобы соперничающие газеты не перехватили подписчиков, — ответили мне.

Итак, конкуренция. Вот, казалось бы, универсальный ключ к разгадке необъяснимых явлений японской буржуазной прессы. Но так ли это? Достаточно лишь несколько раз побывать в Токио на пресс-конференциях для японских журналистов, чтобы столкнуться с еще одним парадоксом.

Хотя в зале видишь представителей самых различных органов печати, радио, телевидения, вопросы всегда задает кто-то один. Остальные лишь слушают и записывают. Там, где представителям соперничающих редакций, казалось бы, самое время состязаться в находчивости, оригинальности, настырности, многоликая пресса неожиданно отказывается от конкуренции и предпочитает вести диалог как бы от имени одного лица.

Вопросы согласовываются заранее и сообща принимается решение, кто будет задавать их от имени всех. В Японии существует система пресс-клубов, в соответствии с которой всякое государственное учреждение, политическая партия или общественная организация обязана делать официальные заявления лишь всей прессе в целом, чтобы такого рода новость не могла стать монопольным достоянием какого-то одного органа печати.

Ведущие газеты, радио- и телевизионные компании имеют своих представителей и в пресс-клубе при премьер-министре, и в пресс-клубе при командовании американских военных баз, и в пресс-клубе при Коммунистической партии Японии. Участие определяется здесь лишь интересом, который представляет данный источник информации.

Но как же можно выделиться среди соперников, как можно проявить какое-то своеобразие при таком сознательном обобществлении материала, при такой стандартизации рациона, которым питаются газеты?

— Мы рассуждаем так, — объяснили мне, — лучше в десяти случаях иметь то же, что и другие, чем лишь однажды оказаться в чем-то позади всех. Конечно, система пресс-клубов обезличивает газеты, зато каждая из них гарантирована, что никогда ничего не прозевает...

Как же совместить подобные рассуждения с понятием конкуренции как основного закона буржуазной прессы?

Зашел незнакомый человек в комбинезоне и желтой каске строителя, вручил перевязанную лентой коробку и конверт. В коробке оказался подарочный набор из трех разноцветных кусков туалетного мыла, в конверте — письменное извинение: в связи с заменой водопроводных труб в переулке придется рыть траншею и беспокоить окрестных жителей треском пневматических отбойных молотков.

После этого мы с женой опять целый день спорили о японской вежливости, точнее — о ее необъяснимой оборотной стороне.

Пылкая влюбленность, с которой смотрит на Японию новичок, неизбежно омрачается первой размолвкой, как только он сталкивается с изнанкой японской вежливости. Ничто так не гипнотизирует в Японии на первых порах, как экзотическая учтивость. В разговорах все поддакивают друг другу, при встречах отвешивают церемоннейшие поклоны, уместные, казалось бы, лишь в исторических фильмах да на театральной сцене.

Зрелище это поистине незабываемое. Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на середине улицы и прямо на него движется трамвай. Затем он как бы переламяется в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям, и, застыв еще на несколько

секунд в согбенном положении, осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. Со стороны же сцена эта производит впечатление, что обоих хватил прострел и они не в силах разогнуться.

Токийские газеты подсчитали, что каждый служащий ежедневно отвешивает таких официальных поклонов в среднем 36, агент торговой фирмы — 123, девушка у эскалатора в универмаге — 2560.

Но посмотрите вслед японцу, который, только что церемонно раскланявшись с вами, вновь окунается в уличную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда деваются его изысканные манеры, предупредительность, учтивость! Он прокладывает себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания.

До тех пор пока прохожие на улице или пассажиры в вагоне остаются незнакомцами, японец считает себя вправе относиться к ним как к неодушевленным предметам. Садясь в автобус, можно без зазрения совести отпихнуть от подножки женщину с младенцем за спиной. Можно, пустив в ход колени и локти, обменяться пинками с соседом. Полагается лишь обоюдно делать вид, что делаешь это как часть толпы, а не как отдельная личность.

Если вновь окликнуть знакомого, который в толпе вдруг преобразился в грубияна, еще раз видишь такое же магическое перевоплощение. Он опять становится улыбающимся, предупредительным, изысканно вежливым... по отношению к вам.

Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается общественного поведения — для каждого, кто приезжает в Японию, легче открыть это противоречие, чем докопаться до его корней.



Нужен путеводитель

Нередко чувство разочарования и даже досады окрашивает первые впечатления о Японии. Приезжему прежде всего кажется, что он опоздал, что он упустил время,

когда еще можно было увидеть подлинное лицо этой страны — красочное, стилизованное, как театральная декорация.

Даже сознавая, что он едет в третью промышленную державу мира, турист рассчитывает, что ее новые черты окажутся лишь забавно живописными, экзотически парадоксальными добавлениями к чертам традиционным; что самые крупные в мире танкеры, самые маленькие телевизоры и самые быстрые в мире поезда будут лишь контрастной ретушью на портрете сказочной страны с ее церемонными поклонами, кукольными женщинами, игрушечными бумажными домиками и древними храмами среди прихотливо изогнутых сосен.

Вместо этого приезжий видит прежде всего самую неприглядную сторону современной цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопченных стен и железнодорожных путей похоронил под собой подлинную, традиционную Японию.

Убедившись, что образ, сложившийся по открыткам и рекламным календарям, довольно далек от реальности, иностранец вслед за этим задается вопросом: насколько же в самом деле осовременилась Япония и насколько живуче ее прошлое? То есть в какой именно пропорции сочетаются в облике страны сегодняшней день со вчерашним?

Вопрос этот не нов. Сопоставление поразительной восприимчивости к новому с самобытностью вековых традиций служит лейтмотивом всего, что пишется о Японии вот уже на протяжении целого столетия.

Поневоле напрашивается мысль, что кажущаяся податливость японской природы подобна приемам борьбы дзю-до: уступить натиску, чтобы устоять, то есть идти на перемены, с тем чтобы оставаться самим собой.

Восприимчивость японцев больше касается форм жизни, чем ее содержания. Они охотно и легко заимствуют материальную культуру, но в области культуры духовной им присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость.

Эта «японская Япония», почти не подверженная переменам, присутствует везде и во всем. Это как бы оборотная сторона медали. Ее олицетворяют сельская глушь в противовес городу; семейный быт в противовес нравам улицы; и наконец, она присутствует во внутренней жизни любого японца, сколь бы современным ни был его облик.

Подобно тому как мода на мини-юбки может с неужи-

данной силой воскресить престиж кимоно, эти подспудные силы влияют на вкусы и склонности каждого поколения, даже каждой отдельной личности. Человек, смолоду выступающий как ниспровергатель устоев старины, падкий на всяческие новинки зарубежной моды, после сорока лет, как правило, начинает японизироваться, вновь проявлять тягу к обычаям и привычкам своих предков.

Вот почему вывести формулу современной Японии через количественное соотношение сегодняшнего и вчерашнего дня в ее облике практически невозможно.

Пока живешь в Токио, кажется, что японская зима — самое сухое и солнечное время года. Трудно представить себе, что за соседними горами, на западном побережье выпадают такие глубокие снега, что многие селения оказываются полностью отрезанными от внешнего мира и им приходится сбрасывать продовольствие с вертолетов.

Такова Япония во всем. После нескольких лет изучения ее жизни вдруг обнаруживаешь, что смотрел на горы лишь с одной стороны, в то время как на их противоположном склоне климат совсем иной.

Японский характер очень гибок, податлив, но вместе с тем стоек, как бамбук. Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний день полностью заслонил вчерашний, незримое присутствие прошлого называется донине. Слово, лежащее на дне потока, оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать завихрениями и водоворотами.

Чтобы постигнуть сегодняшний день страны и народа, нужен путеводитель по японской душе.

Иначе не понять, почему ультрасовременная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет полную покорность родительской воле в выборе спутника жизни.

Иначе не понять, почему в стране, где пролетариат славится боевым духом и умеет противопоставить нажиму капитала единый забастовочный фронт, почему в этой самой стране сменить работу — явление немногим более частое, чем сменить жену. Здесь до сих пор принято заниматься на всю жизнь.

Иначе не понять, почему, несмотря на давние традиции общественной жизни, люди подчас ставят личную преданность выше убеждений, что порождает неискоренимую семейственность в политическом и деловом мире.

Иначе не понять, почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стремясь прикрыть его види-

мостью компромисса; почему сложные и спорные вопросы они предпочитают решать только через посредников.

Иначе, наконец, не понять,, как могут совмещаться в японском характере совершенно противоположные черты: церемоннейшая учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице; жесткость правил поведения с распушенностью нравов; непритязательность со склонностью к показному; отзывчивость с черствостью; скромность с самонадеянностью.

Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и опор, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохраняются очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям.

Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, — это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь.

Японская мораль коренится в эстетике. Нравственные принципы этого народа тесно связаны с его представлениями о красоте. А культ прекрасного у японцев, в свою очередь, во многом сходен с религией и берет свое начало из обожествления природы.

Путеводитель по японской душе должен, стало быть, начинаться с ее истоков.



Остров Чипингу на востоке, в открытом море; до него от материка тысяча пятьсот миль. Остров очень велик; жители белы, красивые и учтивы; они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золота, скажу вам, у них великое обилие: чрезвычайно много его тут, и не вывозят его отсюда: с материка ни купцы, да и никто не приходит сюда, оттого-то золота у них, как я вам говорил, очень много. Жемчугу тут обилие; он розовый и очень красив, круглый, крупный; дорог он так же, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни. Богатый остров, и не перечеть его богатства.

Марко Поло, Путешествия, 1298



За китайским государством на востоке во окяние море от китайских рубежей верст с семьсот лежит остров зело велик, именем Иапония. И в том острове большее богатство, нежели в китайском

государстве, обретается, руды серебряные и золотые и иные сокровища. И хотя обычай их и письмо тоже с китайским, однакоже они люди свирепии суть и того ради многих езувитов казнили, которые для проповедования веры приезжали.

Из памятной записки для московского посла в Пекине
Николая Сафария, 1675



Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в лице Японии они имеют дело со странюю, проникнутою совершенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что на всем протяжении Японии, с Крайнего Севера и до Крайнего Юга, он встречает совершенно одинаковую форму семейного и общественного быта, совершенно одинаковый строй понятий, воззрений, наклонностей и желаний.

Г. Востоков, Общественный, домашний
и религиозный быт Японии. Спб., 1904



...Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии! — какими силами! — Говорят, что сердцем Японии — в старом, умом — в новом. Бьть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое!

Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетний быт и обычаи, и сознание, перешедшее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны, и то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин и пушек.

Борис Пильняк, Камни и корни. Москва, 1935



Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов нашей литературы; их изображали только одной краской — или розовой, или черной.

Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, кимоно и фуросики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, однако, чтобы розовой была жизнь Японии; не верю ни в умильность персонажей романов Лоти, ни в страсти «Мадам Баттерфляй». Описывая японцев, некоторые западные авторы улыбались растроганно и снисходительно; примерно так

держатся с детьми холостые мужчины, желая показать мамашам свою доброту. Для миллионов западных буржуа Японии была игрушечным миром с гейшами и с бумажными фонариками, с цаплями и драконами, с ирисами и с веерами, с хризантемами и с церемониями. Конечно, были на Западе специалисты, хорошо знавшие искусство Японии, были художники, потрясенные старой японской живописью, но средний европеец, читатель «Мадам Хризантем», восхищался не японским гением, а «японщиной» — стилизацией, доходившей до безвкусицы.

Были и такие западные авторы, которых Япония возмущала. Они не раз писали, что японцы лишены какой-либо индивидуальности; мелькали стереотипные определения: «пруссаки Азии», «вечные имитаторы», «муравейник». В книгах этих авторов Япония была страной самураев, жаждущих рубить и крушить, страной хакакири и пыток, коварства и жестокости, беспрекословного повиновения и дьявольской хитрости.

Конечно, в тридцатые годы нашего века японские генералы старались удесятерить штаты шпионов, а полиция не жалела средств на секретных осведомителей. Но ведь это относится к политической истории страны, а не к характеру народа. Между тем авторы, рисовавшие Японию черной, уверяли, будто каждый японец рождается шпионом, нет для него более возвышенного времяпрепровождения, нежели добровольный сыск. Достаточно вспомнить, как в добродушной Италии чернорубашечники убивали детей, как в городе четырех революций картезианцы маршировали под окрик фельдфебелей, как сжигали книги в стране Гутенберга, чтобы отвести всякие попытки сделать национальный характер ответственным за злодеяния того или иного режима.

И. Эренбург, Япония, Греция, Индия. Москва, 1960



Капли с копыа Изаиаги

Когда боги Изаиаги и Изаиами по радуге спускались с небес, чтобы отделить земную твердь от хляби, Изаиаги ударил своим богатырским копыем по зыбко колыхавшейся внизу пучине. И тогда с его копыа скатилась вереница капель, образовав изогнутую цепь островов.

Древняя легенда о сотворении Японии приходит па память, когда смотришь на эту страну с самолета. Изогнутая гряда гористых островов и впрямь похожа на окаменевшие капли.

Или, может быть, это караван гор, прокладывающий себе путь через бескрайнюю пустыню океана? «Путь гор» — таково одно из толкований древнего имени этой страны: Ямато.

Действительно, Япония — это прежде всего страна гор. Их всегда видишь на горизонте, даже находясь посреди самой большой равнины. Для большинства японцев солнце всегда поднимается из-за моря и спускается за горы. Для меньшей части — наоборот. И коль уж существует исключение из этого общего правила, то лишь для глубоких районов, огражденных хребтами от обоих побережий. Там солнце всегда встает из-за гор и за горы же садится.

Древние японцы считали горы промежуточной ступенью между небом и землей, а потому — святым местом, куда нисходят с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди также поклонялись горам как воплощению неведомой божественной силы, которая дремала в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, грохота, каменных дождей и испепеляющих огненных рек.

Имя Ямато напоминает, что сотворение Японии еще не завершено. Капли, упавшие с божественного копья, еще не остыли окончательно. Вся эта дугообразная вереница островов из конца в конец вздулась волдырями вулканов. Вся эта молодая суша то и дело колышется, ходит ходуном из-за землетрясений.

Но Страна огнедышащих гор больше известна как Страна восходящего солнца. И второе образное название Японии поэтизирует уже не время, а место ее рождения.

Именно под этим именем Япония впервые дала о себе знать западному миру со страниц книги Марко Поло. В главе «Здесь описывается остров Чипингу» путешественник приводит название, которым китайцы обозначали острова, лежащие к востоку от восточного края земли.

Слово, которое прозвучало для Марко Поло как Чипингу, пишется тремя иероглифами «жи-бэнь-го» (каждый из которых соответственно значит: солнце — корень — страна).

Иероглифы «жи-бэнь» на диалектах Южного Китая произносятся как «я-пон» (такое звучание и перешло потом в европейские языки), а по-японски читаются как Ниппон (как раз это слово и утвердилось официальным названием японского государства вместо древнего имени Ямато).

Итак, Страной восходящего солнца прозвали Японию ее соседи. Но такое имя не прижилось бы у японцев, если бы не совпало с их собственным мироощущением. Народ этот почитал Изнаги и Изанами не только за со-

творение Японии, но и за то, что они произвели на свет дочь Аматерасу — лучезарную богиню солнца, культ которой составляет основу обожествления природы.

Исконная японская религия синто (то есть «путь богов») утверждает, что все в мире одушевлено и, стало быть, наделено святостью: огнедышащая гора, лотос, цветущий в болотной трясине, радуга после грозы... Аматерасу как светоч жизни служит главой этих восьми миллионов божеств.

Перед любым синтоистским храмом непременно высятся торий — нечто вроде ворот с двумя поперечными перекладинами. (Торий считается национальным символом Японии, так как это один из немногих образцов подлинно японского зодчества, существовавшего до чужеземных влияний.)

В своем первоначальном смысле слово «торий» означает насест. Он ставится перед храмом в напоминание о легенде, рассказывающей, как Аматерасу обиделась на своего брата и укрылась в подземной пещере.

Долгое время никто не мог уговорить богиню солнца выйти оттуда и рассеять мрак, в который погрузился мир. Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом поставили круглое зеркало. Когда петух прокукарекал, Аматерасу по привычке решила, что пора вставать. Выглянув наружу, она увидела в круглом зеркале собственное отражение и приняла его за незнакомую красавицу. Это задело женское любопытство богини, и Аматерасу вышла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир тут же снова осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом.

Из подобных легенд и состоит священная книга синто, которая называется кодзики (что значит летопись). В ней, однако, вовсе нет каких-либо нравственных заповедей, норм праведного поведения или предостережений против грехов. Из-за отсутствия собственного этического учения синто, пожалуй, даже не назовешь религией в том смысле, в каком мы привыкли говорить о христианстве, исламе или буддизме.

В сущности, синто — это обожествление природы, рожденное восхищением ею. Японцы поклонялись предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезап-

ные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой.

Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте.

Синто не требует от верующего ежедневных молитв — достаточно лишь присутствия на храмовых праздниках и приношений за исполнение обрядов. В быту же исповедующие синто проявляют себя лишь религиозным отношением к чистоте. Поскольку грязь отождествляется у них со злом, очищение служит основой всех обрядов.

Присущее японцам чувство общности с природой, а также чистоплотность имеют, стало быть, очень глубокие корни.



Синто нельзя считать религией, а его святых — богами. Это набор поверий, обычаев, примет и обрядов. Единственная цель синто — укоренить верность издавна установившемуся образу жизни.

Сидней Кларк, Все о Японии.
Нью-Йорк, 1961

Островное положение способствует долговечности национальных традиций: в этом смысле Японию часто сравнивают с Англией. Однако Корейский пролив, отделяющий Страну восходящего солнца от Азиатского материка, примерно в шесть раз шире, чем Ла-Манш. Для древних завоевателей это была куда более серьезная преграда. Защищенная ею, Япония никогда не подвергалась успешному вторжению чужеземных войск.

Вскоре после походов Чингисхана в Европу его преемник Хубилай, монгольский правитель Китая, в 1274 году попытался захватить Японию, но был отбит.

В 1281 году Хубилай снова предпринял поход. На этот раз он, по свидетельству летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива десять тысяч судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. Однако этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который получил в японской истории название Божественного ветра — Камикадзе.

Стране восходящего солнца долгое время удавалось быть в стороне от походов завоевателей и знать лишь междоусобные войны. Впрочем, нашествие из-за морей все же произошло — за четырнадцать веков до американской оккупации и за семь веков до попыток Хубилая навести через пролив плавучий мост для своей конницы. Правда, это было нашествие идей, а не войск; причем мостом, по которому на Японские острова устремилась цивилизация Индии и Китая, послужил буддизм. Среди даров, присланных правителем Кореи в 552 году, в Японию впервые попали изображения Будды. Буддийские сутры стали для японцев первыми учебниками иероглифической письменности; книгами, которые приобщали их к древнейшим цивилизациям Востока.

Новая религия требовала углубленного изучения чрезвычайно сложных текстов. Именно этим занимались в ту пору многие выдающиеся умы Индии и Китая. Однако сама по себе грамотность была для японцев делом новым. Лишь немногие из них могли в ту пору посвятить себя изучению философской стороны буддизма с его теорией круга причинности, утверждающей, что день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего; с его концепцией перевоплощения душ (если человек несчастлив, стало быть, он расплачивается за грехи, совершенные в своем предыдущем существовании).

В основе учения Будды лежат четыре истины. Первая: жизнь полна страданий. Вторая: причиной их служат неосуществленные желания. Третья: чтобы избежать страданий, надо подавлять в себе желания. Четвертая: достичь этого можно, если идти по пути из восьми шагов, то есть сделать праведными свои воззрения, намерения, речь, поступки, быт, стремления, мысли, волю. Лишь тот, кто пройдет эти восемь шагов, достигнет просветления, или нирваны, и вырвется из бесконечного круга перевоплощений.

Буддизм прижился на японской земле как религия знати, в то время как синто оставался религией простолюдинов. Сказания синто были куда понятнее народу, чем буддизм с его туманными рассуждениями о круге причинности и переселении души. Средний японец воспринял лишь поверхностный слой буддийской философии, прежде всего идею непостоянства и недолговечности всего сущего (стихийные бедствия, которым подвержена

островная страна, способствовали подобному мировоззрению).

Синто и буддизм — трудно представить себе более разительный контраст. С одной стороны, примитивный языческий культ обожествления природы и почитания предков; с другой — вполне сложившееся вероучение с глубокой философией. Казалось бы, между ними неизбежна непримиримейшая борьба, в которой чужеродная сила либо должна целиком подавить местную, либо, наоборот, быть отвергнутой именно вследствие своей сложности.

Не случилось, однако, ни того, ни другого. Япония, как ни парадоксально, распахнула свои двери перед буддизмом. Две столь несхожие религии мирно ужились и продолжают сосуществовать. Проповедники буддизма сумели поладить с восемью миллионами местных святых, объявив их воплощениями Будды. А для синто, который одушевляет и наделяет святостью все, что есть в природе, было еще легче назвать Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества.

Вместо религиозных войн, взаимных проклятий и обвинений в ереси сложилось нечто похожее на союз двух религий. У сельских общин вошло в традицию строить синтоистские и буддийские храмы в одном и том же месте — считалось, что боги синто надежнее всего защитят Будду от местных злых духов.

Подобное соседство приводит в недоумение, а то и вовсе сбивает с толку иностранных туристов: какую же религию в конце концов предпочитают японцы и как отличить синтоистский храм от буддийского?

Внешние приметы перечислить нетрудно. Для синтоистского храма главная из них — торий; для буддийского — статуи. Подобно тому как в мусульманских мечетях не увидишь ничего, кроме орнаментов, в храмах синто нет изображений Аматерасу. Про легенду о ней напоминает лишь символический насест для петуха. Буддизм же впервые возвеличил в Японии искусство скульптуры.

Другой приметой могут служить сами подступы к святыне. Дорога к синтоистскому храму всегда усыпана мелким щебнем, в котором вязнет нога. Экскурсанты часто удивляются: неужели аллеи парка Мэйдзи нельзя было заасфальтировать? Но столь неудобный для пешехода грунт имеет свое религиозное значение. Заставляя

человека волей-неволей думать лишь о том, что у него под ногами, щепень этот как бы изгоняет из сознания верующего все прочие мысли, готовит его к общению с божеством. К буддийскому же храму обычно ведут извилистые дорожки из плоских каменных плит.

О религии можно, наконец, судить по поведению самих молящихся. Если, встав перед храмом, они хлопают в ладоши, они хотят привлечь внимание богов синто. Если же, подобно индийцам, они молча склоняют голову к соединенным перед грудью ладоням, — это обращение к Будде.

Когда приезжий, постепенно разобравшись в этих различиях, задает наконец вопрос, сколько же в Японии синтоистов и сколько буддистов, он слышит в ответ весьма странные цифры. Судя по ним, получается, что общее число верующих в стране вдвое превышает численность населения. Это означает, что каждый японец причисляет себя и к синтоистам и к буддистам, участвует в ритуалах обеих религий.

Чем объяснить такое сосуществование богов? Как могли они найти место в душе каждого японца, чтобы мирно ужиться между собой? Ответить на это можно так: благодаря своеобразному разделению труда. Синто оставил за собой все радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму события печальные. Если рождение ребенка или свадьба отмечаются синтоистскими церемониями, то похороны и поминание предков проводятся по буддийским обрядам.

Новорожденного японца первым делом несут в синтоистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала, ребенка снова приводят туда уже как существо, окончательно вступившее в жизнь. Обряд этот сохранился до наших дней как праздник «Семь-пять-три». 15 ноября каждого года семилетних, пятилетних и трехлетних детей всей Японии наряжают как кукол в яркие кимоно (девочкам к тому же румянят щеки и делают высокие старинные прически) и дарят им леденцы в виде стрел, символизирующих долгую жизнь.

Бракосочетания также монополия синто. Весной и осенью, особенно в так называемые счастливые дни, у каждого синтоистского храма непременно увидишь молодоженов, сватов и родственников. Обычай обмахивать

новобрачных зеленой ветвью, девять глотков сакэ, которые по очереди пьют жених и невеста, — все это очень древний ритуал.

Синто оставил за собой и все местные общинные празднества, связанные с явлениями природы, а также церемонии, которыми полагается начинать какое-либо важное дело: например, пахоту или жатву, а в наше время — закладку здания или спуск на воду судна.

События и ритуалы, связанные со смертью, — это, так сказать, компетенция буддизма. Похороны, поминки, уход за кладбищами — вот источники дохода для буддийских храмов, если не считать платы, которую они взимают с экскурсантов, и случайные приношения.

Единственный народный праздник, связанный с буддизмом, это бон — день поминовения усопших. Его отмечают в середине лета, на седьмое полнолуние, причем отмечают весело, чтобы порадовать предков, духи которых, по преданию, возвращаются тогда на побывку к родственникам. Существует обычай поминать каждого умершего свечкой, которую пускают в плавучем бумажном фонарике вниз по течению реки.

На фоне мирного сосуществования богов, присущей японцам религиозной терпимости, проповедники христианства предстали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, что обрести спасение и обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно лишь взамен за отказ от всякой другой веры в пользу учения Иисуса Христа, — сама эта идея казалась японцам торгашеской и унижительной. Когда миссионеры толковывали японцам, что их предки обречены вечно гореть в огне лишь за то, что умерли некрещеными, такие доводы скорее отталкивали, чем привлекали.

К тому же люди, от которых местные жители впервые услышали о грехе, сами показали себя далеко не безгрешными. Миссионеры, сопровождавшие европейских первооткрывателей Японии в 1540-х годах, рвались к богатствам неведомого «острова Чипингу».



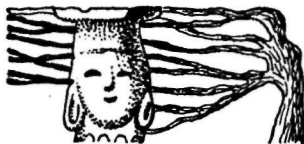
Япония стала известна европейцам в половине XVI века; первые открыли сие государство португальцы; тогда дух завоевания новооткрываемых земель господствовал над сильнейшими морскими дер-

жавами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали, по обыкновению своему, с торговли и с проповедования мирным жителям сего государства католической веры. Миссионеры их, прибывшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность сей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую веру; но царствовавший в Японии к исходу XVI века светский император Тейго, человек умный, проницательный и храбрый, скоро приметил, что иезуиты более заботились о собирании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы, почему и решился истребить христианскую веру в Японии и выгнать миссионеров из своих владений.

Главной, или, лучше сказать, единственною, причиной гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов, те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства; следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог приметить, что пастырями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях.

Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным — словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, дышащие монашескою злобою, приняли за достоверную истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли выражения: японская злость, японское коварство и прочее. Но мне судьба предназначила в течение двадцатисемимесячного заключения в плену сего народа удостовериться в противном.

«Записки капитана В. М. Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах»



Эстетика вместо религии

Существование богов на японской земле отнюдь не всегда было мирным. Как и в других странах, здесь известны попытки власть имущих использовать религиозные чувства в собственных целях. С начала XVII века военные правители страны — сёгуны династии Токугава стали усиленно насаждать конфуцианство с его идеей покорности вышестоящим. Именно с той поры влияние буддизма в Японии пошло на убыль.

В 1868 году, как только правление сёгунов Токугава было свергнуто, сторонники восстановления власти микадо тут же объявили синто государственной религией и узаконили миф о божественном происхождении императора как прямого потомка богини Аматерасу.

Итак, в японской душе оставили свой след три религии. Синто наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы. Наконец, конфуцианство принесло с собой идею о том, что основа морали — это верность, понимаемая как долг признательности старшим и вышестоящим.

Когда буддисты из Бирмы, мусульмане из Пакистана или католики с Филиппин попадают в Токио, они прежде всего поражаются религиозному безразличию японцев. Здесь не услышишь, чтобы на Будду или других богов ссылались в своих речах государственные деятели. Если писатели или художники порой берутся за религиозные темы, то отнюдь не по наитию веры. Несмотря на обилие храмов, все обиходные молитвы сводятся к трем фразам:

- Да минуют болезни.
- Да сохранится покой в семье.
- Да будет удача в делах.

Эти три молитвы произносятся безотносительно к какой-либо из религий, просто как житейские заклинания. Священнослужитель для японцев не наставник жизни, как, скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по заказу положенные обряды.

В общем, японцы, как и их соседи — китайцы, народ малорелигиозный. Но если китайцам религию во многом заменяет этика, то есть нормы взаимоотношений между людьми, то у японцев в подобной роли выступает эстетика, то есть поклонение прекрасному.

Не будет большим преувеличением назвать национальной религией японцев культ красоты. Именно эстетические нормы во многом определяют жизненную философию этого народа.

Японцам присуще обостренное чувство гармонии. Художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни.

Эстетизм японцев основывается на убеждении, что красота присутствует в природе всюду и от человека требуется лишь зоркость, чтобы увидеть ее.

Любовь японцев к прекрасному коренится, таким образом, в их любви к природе. Вспомним, что в основу религии синто легло поклонение природе не из страха перед ее грозными явлениями, а из чувства восхищения ею. Эта же черта окрашивает и японское искусство.

Нужно воочию увидеть Японские острова, чтобы понять, почему населяющий их народ обожествляет родную природу, делает ее мерилom своих представлений о прекрасном.

Япония — это страна зеленых гор и морских заливов; страна, сплошь состоящая из живописнейших панорам. В отличие от ярких красок Средиземноморья, которое лежит примерно на таких же широтах, ландшафты Японии составлены из мягких тонов, приглушенных влажностью воздуха. Эту сдержанную гамму могут временно нарушать лишь какие-нибудь сезонные краски. Например, весеннее цветение азалий или пламенеющие к осени листья кленов.

Здесь порой думаешь, что не только художники, но и сама натура — сосны на прибрежных скалах, зеркальная мозаика рисовых полей, сумрачные вулканические озера — следует одним и тем же общепринятым в этой стране канонам красоты.

На сравнительно небольшой территории Японии можно увидеть природу самых различных климатических поясов. Бамбук, склонившийся под тяжестью снега, — вот символ того, что в Японии соседствуют север и юг.

Японские острова лежат в зоне муссонных ветров. В конце весны и в начале лета массы влажного воздуха со стороны Тихого океана приносят обильные дожди, столь необходимые для рисовой рассады. Зимой же холодные ветры со стороны Сибири набираются влагой, пролетая над Японским морем, и приносят на северо-западное побережье Японии самое большое в мире количество снега для этих широт.

Сочетание муссонных ветров, теплого морского течения и субтропических широт сделало Японию страной своеобразнейшего климата, где весна, лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют друг друга на редкость пунктуально. Даже первая гроза, даже самый

сильный тайфун приходится, как правило, на определенный день года.

Японцы находят радость в том, чтобы не только следить за этой переменной, но подчинять ей ритм своей жизни. У их исследователей существует даже своеобразное определение японской культуры как «фольклора четырех времен года».

Став горожанином, современный человек во многом утрачивает свой контакт с природой. Она уже почти не влияет на его повседневную жизнь. Японец же даже в городе остается не только чутким, но и отзывчивым к смене времен года.

Подчиняясь календарю, он старается есть определенную пищу, носить определенную одежду, придавать должный облик своему жилищу. Он любит приурочивать семейные торжества к знаменательным явлениям природы: цветению сакуры или осеннему полнолуннию; любит видеть на праздничном столе напоминание о времени года: ростки бамбука весной или грибы осенью.

Жажда общения с природой граничит у японца с самозабвенной страстью. Причем любовь эта вовсе не обязательно адресуется одним только захватывающим дух крупномасштабным красотам — предметом ее может быть и травинка, на которой обосновался кузнечик; и полураскрывшийся полевой цветок; и причудливо изогнутый корень — словом, все, что служит окном в бесконечное разнообразие и изменчивость мира.

Японцам присуща не столько решимость покорять, преобразовывать природу, сколько стремление жить в согласии с ней. Этой же чертой пронизано их искусство. Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они сливались с окружающей средой, были открыты ей. Цель японского садовника — воссоздать природу в миниатюре. Ремесленник стремится показать фактуру материала, повар — сохранить вкус и вид продукта.

Стремление к гармонии с природой — главная черта японского искусства. Она определяет подход художника к материалу. Как бы ни велика была общность культур Японии и Китая, здесь они в корне различны. Пафос китайского искусства утверждает всемогущество человеческих рук. Японский же художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту.



Природа страны влияет на человека не только своими отдельными элементами, но и всей своей совокупностью, своим общим характером и колоритом. Вырастая среди богатой и разнообразной природы, любясь с детства изящными очертаниями вулканов, уходящих в небо своими конусами, и бирюзовым морем, усеянным тучею зеленых островков, японец всасывает с молоком матери любовь к красоте природы и способность улавливать в ней прекрасное.

Чувство изящного, склонность наслаждаться красотой свойственны в Японии всему населению от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин — эстетик и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом, а особенно красивые горы, ручьи или водопады служат даже объектом благоговейного культа, тесно переплетаясь в представлениях простолюдина с конфуцианскими и буддийскими святынями. Из этого культа красоты, основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло японское искусство.

П. Ю. Шмидт, Природа Японии. Спб., 1904



При изучении истории, литературы и фольклора можно установить два главных источника развития японской культуры: один из них — это любовь к природе, и второй — скудость материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству, которое дети испытывают к своим родителям, восхищаясь ими и в то же время побаиваясь их.

Хотя культура обычно рассматривается как антитезис природы, главная характерная черта японской культуры состоит в том, что это культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы, и тем самым резко контрастирующая с культурой других азиатских стран, особенно Китая.

Сюнкити Акимото, Изучая японский образ жизни.
Токио, 1961



Керамисты и кулинары

С утра я брожу по извилистой улочке Киото, спускающейся по склону от храма Кёмидзу. На ней теснится множество гончарен и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава кёмидзуяки, то есть керамики Кёмидзу.

Я брожу, вдыхая знакомый запах, рождающий воспоминания о только что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивается с запахом обожженной глины.

Запах этот напоминает мне, однако, не только русскую деревню. Перед глазами тут же встал китайский город Цзиндэ — родина фарфора. Косо срезанные сверху трубы на фоне голубоватых гор. Берег реки, густо облепленный джонками с каолином — сырьем для изготовления фарфора. Грузчики на бамбуковых коромыслах уносили эти белые кирпичики наверх, к гончарням и печам. А другие катили навстречу им тачки с укутанными в рисовую солому связками готовой посуды.

Можно ли было без волнения подъезжать к родине фарфора, о котором еще тысячу лет назад говорили:

Белизной подобен нефриту, тонкостью — бумаге.
Блеском подобен зеркалу, звонкостью — цимбалам.

В начале VII века китайский купец Тао Юй сказочно разбогател. Он пустил в продажу новый, неизвестный дотеле тип керамики, выдав ее за изделия из нефрита. Белый, блестящий, чуть просвечивающий фарфор действительно напоминал этот высоко ценимый на Востоке благородный камень. Тогда же, то есть еще в эпоху Тан, фарфор проник в Японию, затем в Индию, Иран, арабские страны, а оттуда — в далекую Европу.

Впервые мне довелось попасть в Цзиндэ в 1954 году. Город был похож на пчелиные соты. Он состоял из замкнутых двориков-ячеек. Каждый такой дворик действительно представлял собой первичную ячейку фарфорового производства. Все гончарни были похожи друг на друга: прямоугольник крытых черепицей навесов, а посередине — ряды кадок, в которых отмучивался каолин. Солнечный луч дробился в них, как в десятках круглых зеркал.

Человек в фартуке осторожно переливал плоским ковшиком почти прозрачную, чуть забеленную воду из одной кадки в другую. Через несколько дней самый светлый слой ее вычерпывали в третью. Таким многократным отмучиванием достигалась тончайшая структура сырья.

Под навесом работали гончары. Каждый сидел над большим деревянным кругом, широко расставив ноги и опустив руки между колен. Он то раскручивал тяжелый маховик круга палкой, то склонялся к куску фарфоровой

массы, нажимом пальцев превращая его в чашку или вазу.

От гончаров черепки поступали к точильщикам. Вооруженные лишь примитивными резцами, они доводили блюдо или чашу из хрупкой полусухой глины до толщины яичной скорлупы. Выправленные черепки окунали в похожую на молоко глазурь и отправляли сушить. К полудню серые крыши Цзиндэ становились белыми. Доски с черепками клали иногда даже между крышами соседних домов, превращая переулки в коридоры. На этих же досках изделия доставляли к печам.

И наконец, обжиг — таинственный процесс, при котором глина должна обрести свойства драгоценного нефрита. На искусство старшего горнового в Цзиндэ издавна смотрели как на колдовство. Проявлялось это уже с загрузки печи, с умения удачно «проложить дорогу ветру и огню». Нужно учитывать особенности каждого вида фарфора, качество дров, погоду и даже направление ветра. Впрочем, помимо знаний и опыта, тут играли роль чутье, риск, а порой и просто везенье. Недаром среди обжигальщиков ходила поговорка: «Загрузить печь — что выткать цветок; обжечь — что огрбить дом!»

Я много фотографировал тогда мастеров одного из самых ранних видов росписи — цинхуа. В отличие от других она наносится лишь одним цветом, причем еще до того, как черепок покрыт глазурью и обожжен.

Кисть мастера цинхуа должна двигаться со строго определенной скоростью. Необоженный фарфор очень активно впитывает влагу. Нанося узор, художник видит только равномерный зеленый тон. Но там, где он помедлил лишнюю секунду, после обжига окажется темное пятно. Однако это же свойство черепка открывает перед виртуозным мастером и новые возможности — ускоряя или замедляя движение кисти, он может, располагая лишь одним цветом, создать узор с целой гаммой полутонов: от бледно-голубого до густо-синего. Овладеть искусством подглазурной росписи может лишь хороший каллиграф.

...Бродя по японской улице перед храмом Кёмидзу, я на каждом шагу вспоминал мастеров китайского фарфора. Нельзя было не сравнивать эти две ветви восточного искусства. Причем волей-неволей чаще приходилось противопоставлять их друг другу, чем сопоставлять.

Порой можно было подумать, что фарфор родился не в Китае, а в Японии и что, переняв грубый примитивизм гончарен Кёмидзу, китайцы развили затем этот стиль до академических форм.

Создавая фарфор — белый, как нефрит, тонкий, как бумага, блестящий, как зеркало, звонкий, как цимбалы, — китайские керамисты сумели добиться от невзрачной глины этих, казалось бы, чуждых ей качеств.

Нельзя было не поражаться совершенству формы, которого добивались мастера Цзиндэ при обработке необожженного черепка. Качество его перед обжигом проверяли каплей воды: если, сбегав по внутренней стенке вазы, вода проступала снаружи ровной темной полоской, — обточка сделана безукоризненно. Китайские мастера были непримиримы к каким бы то ни было отклонениям от идеально правильных форм. Малейшую деформацию при обжиге они считали браком, говоря, что ваза в этом случае «потеряла тень».

Подобно резьбе по слоновой кости, производившей впечатление тончайших кружев, или вышитым из шелка панно, напоминавшим размашистые картины тушью, произведения мастеров Цзиндэ вновь и вновь утверждали мысль о всевластии художника над материалом.

Японская керамика на этом фоне поначалу показалась примитивной архаикой в сравнении с блистательным классицизмом. Лишь пропитавшись японским пониманием красоты, можно было по достоинству оценить ее.

Чем объяснить такие особенности японской керамики, как отрицание симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение к неопределенным цветам глазури, пренебрежение к какой-либо орнаментации?

Я беседовал об этом в одной из гончарен Кёмидзу с мастером по фамилии Морино.

— Мне кажется, — говорил Морино, — что суть здесь в отношении к природе. Мы, японцы, стремимся жить в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто бывает снег. Но когда он идет, в домах нестерпимо холодно, потому что это не дома, а беседки. И все же первый снег для японцев — это праздник. Мы раскрываем створки бумажных окон и, сидя у маленьких жаровен с углями, попиваем горячую сакэ, любуемся снежными хлопьями, которые ложатся на кусты в саду, на ветви бамбука и сосен.

Естественность, натуральность японцы ценят превыше всего. Мастер не стремится доказать свою способность сделать фарфор похожим на бумагу, а слоновую кость — на кружево. Между художником и материалом здесь не существует отношений повелителя и раба. Более того, японцы не считают нужным скрывать следы воздействия человеческих рук. Они не только сохраняют черты рукотворности, но и любят ими, поэтизируют их.

— Материал, — продолжал Морино, — это живое существо, и процесс творчества должен быть чем-то похож на пробуждение взаимного влечения между мужчиной и женщиной. Лишь если я буду смотреть на материал как на любимую женщину, мы сможем сообща произвести на свет наше общее детище, в котором я воплощу самого себя.

Роль художника состоит не в том, чтобы силой навязать материалу свой замысел, а в том, чтобы помочь материалу заговорить и на языке этого ожившего материала выразить собственные чувства. Когда японцы говорят, что керамист учится у глины, резчик учится у дерева, а чеканщик у металла, они имеют в виду именно это. Художник уже в самом выборе материала ищет именно то, что было бы способно откликнуться на его замысел.

— Если материал отворачивается от меня, я прохожу мимо, — заключил Морино. — Лишь если мы понимаем друг друга, я прилагаю к нему руки.

Если китайцы демонстрируют свою искусность, то изделия японских мастеров подкупают естественностью. Причем в этом первородном несовершенстве отчетливо ощущается созвучность самым современным вкусам — например, обозначившейся повсюду тяге к изделиям народных художественных промыслов.

Японские керамисты считают, что их древние традиции не случайно сомкнулись с последним словом моды. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стали, загрязненного воздуха и консервированных продуктов человек все больше испытывает тоску по природе. Поэтому искусство, утверждающее близость к природе своим подходом к материалу, подчеркивающее рукотворность своих произведений, искусство, которое поэтизирует, а не отрицает огрехи материала, огрехи труда, становится очень созвучным нашей современности.

Итак, красота в понимании японцев должна не созда-

ваться заново, а отыскиваться в природе. Выявить скрытую в природе красоту и порадоваться ей важнее, чем самому пытаться создать что-то прекрасное. Художник должен открыть людям глаза на красоту природы, помочь увидеть ее.

«Не сотвори, а найди и открой» — этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренное различие в эстетических принципах этих двух народов предстает особенно наглядно.

Если китайская кулинария — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из невиданного, то кулинария японская — это искусство создавать натюрморты на тарелке.

Китайская кухня в еще большей степени, чем французская, утверждает всевластие человека над материалом. Для хорошего повара, гласит пословица, годится все, кроме луны и ее отражения в воде. Пользуясь огромной палитрой красок, китайский кулинар к тому же постоянно придает им самые немыслимые и неожиданные сочетания. Кантонское блюдо «битва тигра с драконом» своеобразно не только тем, что готовится из мяса кошки и змеи, но и сложнейшей комбинацией приправ.

Китайский повар гордится умением приготовить рыбу так, что ее не отличишь от курицы; он гордится тем, что может кормить вас множеством вкуснейших и разнообразных блюд, и вы при этом будете оставаться в полном неведении, из чего же именно сделано каждое из них.

Японская же пища в противоположность китайской чрезвычайно проста, и повар ставит здесь перед собой совсем другую цель. Он стремится, чтобы внешний вид и вкус кушанья как можно больше сохраняли первоначальные свойства продукта, чтобы рыба или овощи даже в приготовленном виде оставались самими собой.

(Такие блюда, как сукияки и темпура, которыми чаще всего потчуют туристов, являются отнюдь не типичными для японской кухни, а инородными заимствованиями.)

Японский повар проявляет свое мастерство тем, что не делает его заметным — как садовник, который придает дереву именно ту форму, которую оно само охотно приняло бы.

Приготовление сырой рыбы, например, часто ограничивается умелым нарезыванием ее на ломтики. Однажды вечером я познакомился в закусочной с человеком, который долго пытался объяснить мне знаками свою профессию. «Я повар, повар», — говорил он, стуча ребром ладони по столу, как если бы резал что-то ножом.

Примечательно, что повар связывает со своей профессией именно этот жест. Японский повар — это резчик по рыбе или овощам. Именно нож — его главный инструмент, как резец у скульптора.

Никогда не забуду сельский постоялый двор, где мне подали утром чашку супа, в котором плавали ломтики моркови, нарезанной, как кленовые листочки. Это было напоминанием о сезоне, о золотой осени, потому что достаточно было поднять голову и взглянуть в окно, чтобы увидеть горы, покрытые багряными кленами.

Подобно японскому поэту, который в хайку — семнадцатисложном стихотворении из одной поэтической мысли — обязательно должен выразить время года, японский повар, помимо красоты и гармонии красок, должен обязательно подчеркнуть в пище ее сезонность.

Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кухне более высоко, чем само приготовление. Излюбленное блюдо праздничного японского стола — это сырая рыба, причем именно тот вид ее, который наиболее вкусен в данное время года или именно в данном месте. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору.

Многим иностранцам японская кухня кажется примитивной и пресной. Японцам же однообразной кажется европейская кухня, почти не учитывающая сезона.

В ресторане с китайской кухней каждому из гостей полагается заказать для общего меню по одному любимому им блюду, а хозяин завершает этот ансамбль собственным выбором.

В японском же ресторане принято лишь называть сумму, ассигнованную на угощение. Повар сам должен решить, что подать к столу, ведь он лучше знает, какие продукты у него под рукой и какие из них наиболее соответствуют сезону.

В японской кухне нет места соусам или специям, которые исказили бы присущий продукту вкус. Васаби,

или японский хрен, который смешивается с соевым соусом и подается к сырой рыбе, как бы служит ретушью. Не уничтожая присущий рыбе вкус, он лишь подчеркивает его. Пример подобной комбинации — суси, рисовый шарик, на который накладывается ломтик сырой рыбы, проложенный хреном. Здесь вкус сырой рыбы оттеняется как пресностью риса, так и остротой васаби.

Универсальной приправой в японских кушаньях служит адзи-но-мото. Слово это буквально означает «корень вкуса».

Назначение адзи-но-мото — усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более «куриным». Морковь подобным же образом будет казаться более «морковистой», фасоль — более «фасолистой», а квашеная редька станет еще более ядерной.

Можно сказать, что адзи-но-мото символизирует собой японское искусство вообще. Ведь его цель — доводить камень, дерево, бумагу до такого состояния, в котором материал наиболее полно раскрывал бы свою первородную прелесть. Сколь бы модернистскими ни казались многие современные произведения искусства, подход японского художника к материалу остается прежним.

Модернизм в японском искусстве можно кое в чем уподобить классическому японскому саду. За его кажущейся безыскусственной простотой скрыта уйма труда и уйма традиций. Именно такова, например, современная японская архитектура. Она глубоко национальна не тем, что переняла от прошлого какие-то декоративные мотивы или пропорции. Она глубоко национальна верностью главной черте японского искусства — подходом к материалу.

Сколько бы ни называли Кэндзо Танге ниспровергателем основ, он одновременно верный наследник. Танге поднял современную японскую архитектуру тем, что впервые подошел к бетону так же, как древние японские строители подходили к дереву, не закрашивая его лаком, как китайцы, а подчеркивая прелесть каждой его жилки, каждого сучка. Отказавшись от облицовки фасада, архитектор нашел красоту в необработанном бетоне со следами опалубки. Танге помог бетону раскрыть свою первородную красоту, помог этому современнейшему строительному материалу по-новому выразить себя.



Японцы сумели придать китайским формам искусства свой национальный характер, и не их вина, если иностранные туристы больше всего восхищаются теми памятниками прошлого, которые менее всего показательны для японского гения. В десятках английских и французских книг пагода-мавзолей сёгунов Токугава в Никко описывается как шедевр японского зодчества. Этот храм, построенный в XVII веке, громоздок, пестр, пожалуй, даже криклив. А сила японского искусства в его необычайной простоте, наготе, в пренебрежении ненужными подробностями, в понимании материала, который подается незамаскированным, скажу больше — в лирическом, взволнованном подходе к материалу. В Никко можно найти множество искусных деталей, но искусство еще не означает искусства: это, если угодно, японское барокко. Достаточно сравнить мавзолей в Никко с пагодой Хорюдзи в Нара, с более поздними дворцами Киото, чтобы понять, насколько украшательство, пышность, внешняя эффектность чужды японскому духу.

И. Эренбург, Япония, Греция, Индия. Москва, 1960



В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят естественность, как и показывает их образ жизни. Японцы любят жить в доме, построенном из простого дерева, в то время как китайцы никогда не оставляют куска дерева непокрашенным, любят обильную разнообразную пищу. Японцы тоже любят китайскую кухню, но лишь для разнообразия. Вряд ли можно найти семью, которая благодаря своим высоким доходам каждый день имела бы у себя то, что готовит китайский повар. В живописи китайцы любят все величественное, ясно очерченное, что кажется японцам вульгарным и безвкусным. Китайцы любят пионы, розы, орхидеи — все сильно пахнущие и ясно очерченные цветы, что во многом совпадает со вкусами западных народов. Японцы же больше всего любят такие цветы, как сакура, которая не очень ценится в Китае, а также многие полевые цветы и даже безымянные травы. Когда дело касается наслаждения искусством или природой, японцы становятся заядлыми консерваторами, ибо верны лишь старым критериям. Они любят замшелые камни, карликовые кривые деревья, потому что во всем этом для них содержится особое очарование.

Ивао Мацухара, Жизнь и природа Японии. Токио, 1964



Четыре мерил прекрасного

Мерилami красоты у японцев служат четыре понятия, три из которых (саби, ваби, сибуй) уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое (югэн) навеяно

буддийской философией. Попробуем же разобраться в содержании каждого из этих терминов.

Слово первое — «саби». Красота и естественность для японцев — понятия тождественные. Все, что неестественно, не может быть красивым. Но ощущение естественности можно усилить добавлением особых качеств.

Считается, что время способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность — следы многих рук, прикасавшихся к краю картины.

Вот эти черты давности именуются словом «саби», что буквально означает ржавчина. Саби, стало быть, — это неподдельная ржавость, архаическое несовершенство, прелесть старины, печать времени.

Если такой элемент красоты, как саби, воплощает связь между искусством и природой, то за вторым словом — «ваби» — виден мост между искусством и повседневной жизнью. Понятие «ваби», подчеркивают японцы, очень трудно объяснить словами. Его надо почувствовать.

Ваби — это отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, то есть в представлении японцев вульгарного. Ваби — это прелесть обыденного, мудрая воздержанность, красота простоты.

Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного быта. Не только картина или ваза, а любой предмет домашней утвари, будь то лопаточка для накладывания риса или бамбуковая подставка для чайника, может быть произведением искусства и воплощением красоты. Практичность, утилитарная красота предметов — вот что связано с понятием ваби.

«Ваби» и «саби» — слова старые. Со временем они стали употребляться слитно, как одно понятие — «ваби-саби», которое затем обрело еще более широкий смысл, превратившись в обиходное слово «сибуй».

Если спросить японца, что такое сибуй, он ответит: то, что человек с хорошим вкусом назовет красивым. Сибуй, таким образом, означает окончательный приговор в оценке красоты. На протяжении столетий японцы развили в себе способность распознавать и воссоздавать качества, определяемые словом «сибуй», почти инстинктивно.

В буквальном смысле слова сибуй означает терпкий, вяжущий. Произошло оно от названия повидла, которое приготавливают из хурмы.

Сибуй — это красота простоты плюс красота естественности. Это не красота вообще, а красота, присущая назначению данного предмета, а также материалу, из которого он сделан. Кинжал незачем украшать орнаментом. В нем должна чувствоваться острота лезвия и добротность закладки. Чашка хороша, если из нее удобно и приятно пить чай и если она при этом сохраняет первородную прелесть глины, побывавшей в руках гончара. При минимальной обработке материала — максимальная практичность изделия — сочетание этих двух качеств японцы считают идеалом.

Слово «сибуй» имеет самое различное, подчас даже неожиданное применение. Однажды в метро я слышал, как две девушки пользовались им, споря о киноактерах: Ив Монтан, например, обладает этим качеством, ибо ему присуща грубая, мужественная красота, а вот Алан Делон — нет. Из японских же киноактеров понятию «сибуй» больше всего соответствует Тосиро Мифуне, в то время как кумир школьниц Юдзо Каяма, исполняющий под гитару песенки собственного сочинения, вовсе не сибуй, потому что слишком смазлив. Слово «сибуй» воплощено в терпком вкусе зеленого чая, в тонком, неопределенном аромате хороших духов.

Сибуй — это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Все искусственное, вычурное несовместимо с этим понятием.

Когда знакомишься в музее с историей японского искусства, невольно рождается вопрос: где же здесь последовательное развитие стилей? Такая преемственность не сразу бросается в глаза, ибо сказывается она не в форме, а в содержании.

Японское искусство подобно напитку, который народ издавна готовит сам по собственным и неизменным рецептам, порой перенимая из-за рубежа лишь форму посуды. Сколь ни совершенным было искусство, пришедшее когда-то из соседнего Китая, японцы заимствовали его лишь как сосуд. Так и нынешние веяния с Запада, вплоть до самых модернистских, служат для японцев лишь посудой, в которую они по-прежнему наливают напиток того же терпкого, вяжущего вкуса.

Понятия «ваби», «саби» или «сибуй» коренятся в уме-

нии смотреть на вещи как на существа одушевленные. Если мастер смотрит на материал не как властелин на раба, а как мужчина на женщину, от которой он хотел бы иметь ребенка, похожего на себя, — в этом отзвук древней религии синто.

Можно сказать, что понимание красоты заложено в японцах от природы — от природы в самом буквальном смысле этого слова. И здесь уже можно говорить не только о влиянии синто, но и о том глубоком следе, который оставил в японском искусстве буддизм.

Тайна искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым.

В этой мысли коренится четвертый критерий японского представления о красоте. Он именуется «югэн» и воплощает собой мастерство намекать или подтекста, прелесть недоговоренности.

Заложенная в природе Японских островов постоянная угроза непредвиденных стихийных бедствий сформировала у народа душу, очень чуткую к изменениям окружающей среды. Буддизм добавил сюда свою излюбленную тему о непостоянстве мира. Обе эти предпосылки сообща привели японское искусство к воспеванию изменчивости, бренности.

Радоваться или грустить по поводу перемен, которые несет с собой время, присуще всем народам. Но увидеть в недолговечности источник красоты сумели, пожалуй, лишь японцы. Не случайно своим национальным цветком они избрали именно сакуру.

Весна не приносит с собой на Японские острова того борения стихий, когда реки взламывают ледяные оковы и талые воды превращают равнины в безбрежные моря. Долгожданная пора пробуждения природы начинается здесь внезапной и буйной вспышкой цветения вишни. Ее розовые соцветия волнуют и восхищают японцев не только своим множеством, но и своей недолговечностью. Лепестки сакуры не знают увядания. Весело кружась, они летят к земле от легчайшего дуновения ветра. Они предпочитают опсть еще совсем свежими, чем хоть сколько-нибудь поступиться своей красотой.

Поэтизация изменчивости, недолговечности связана со взглядом буддийской секты дзэн, оставившей глубокий след в японской культуре. Смысл учения Будды, пропо-

ведует дзэн, настолько глубок, что его нельзя выразить словами. Его можно постигнуть не разумом, а интуицией; не через изучение священных текстов, а через некое внезапное озарение. Причем к таким моментам чаще всего ведет созерцание природы в ее бесконечном изменении, умение всегда находить согласие с окружающей средой, видеть величие мелочей жизни.

С вечной изменчивостью мира, учит секта дзэн, несовместима идея завершенности, а потому избегать ее надлежит и в искусстве. В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе, как на мгновение, которое тут же тонет в потоке перемен.

Совершенствование прекраснее, чем совершенство; завершение полнее олицетворяет жизнь, чем завершенность. Поэтому больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца.

Чаще намекать, чем декларировать, — вот принцип, который делает японское искусство искусством подтекста. Художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением.

У японских живописцев есть крылатое выражение: «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертала на нем кисть». У актеров издавна существует заповедь: «Если хочешь выразить свои чувства полностью, раскрой себя на восемь десятых».

Японское искусство взяло на себя задачу быть красноречивым на языке недомолвок. И подобно тому как японец воспринимает иероглиф не просто как несколько штрихов кистью, а как некую идею, он умеет видеть на картине неизмеримо больше того, что на ней изображено. Дождь в бамбуковой роще, ива у водопада — любая тема, дополненная фантазией зрителя, становится для него окном в бесконечное разнообразие и вечную изменчивость мира.

Югэн, или прелесть недосказанности, — это та красота, которая скромно лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вовсе не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя.

Считая завершенность несовместимой с вечным движением жизни, японское искусство на том же основании отрицает и симметрию. Мы настолько привыкли делить

пространство на равные части, что, ставя на полку вазу, совершенно инстинктивно помещаем ее посередине. Японец столь же машинально сдвинет ее в сторону, ибо видит красоту в асимметричном расположении декоративных элементов, в нарушенном равновесии, которое олицетворяет для него мир живой и подвижный.

Симметрия сознательно избегается также потому, что она воплощает собой повторение. Асимметричное использование пространства исключает парность. А какое-либо дублирование декоративных элементов японская эстетика считает грехом.

Посуда на японском столе не имеет ничего общего с тем, что мы называем сервизом. Приезжие изумляются: что за разницей! А японцу кажется безвкусицей видеть одну и ту же роспись и на тарелках, и на блюдах, и на супнице, и на чашках, и на кофейнике.

Итак, наслаждаться искусством значит для японцев вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. Таков жанр сумие — словно проступающие сквозь туман картины, сделанные черной тушью на мокрой бумаге, живопись намеков и недомолвок.

Таковы хайку — стихотворения из единственной фразы, из одного поэтического образа. Эта предельно сжатая форма способна нести в себе поистине бездонный подтекст. Отождествляя себя с одним из четырех времен года, поэт стремится не только воспеть свежесть летнего утра в капле росы, но и вложить в эту каплю нечто от самого себя, давая фантазии читателя толчок, чтобы ощутить и пережить это настроение по-своему.

Таков театр Но, где все пьесы играют на фоне одной и той же декорации в виде одинокой сосны и где каждое движение актера строго предписано и стилизовано.

Во всем этом проявляется сознательная недосказанность, отражающая не бедность ума или недостаток воображения, а творческий прием, который уводит человека гораздо дальше конкретного образа.

Наивысшим проявлением понятия «югэн» можно считать поэму из камня и песка, именуемую философским садом. Мастер чайной церемонии Соами создал его в монастыре Рёанзи в Киото за четыре столетия до того, как современные художники открыли язык абстрактного искусства иными путями.

Экскурсанты с американских военных баз прозвали

этот сад теннисным кортом. Люди, привыкшие воспринимать красоту не иначе как в цифровом выражении, видят здесь лишь прямоугольную площадку, посыпанную белым гравием, среди которого в беспорядке разбросано полтора десятка камней.

Но это действительно поэзия. Глядя на сад, понимаешь, почему многие ультрамодернистские искания Запада представляются японцам вчерашним днем. Не следует разжевывать, как в некоторых туристских путеводителях, версии о том, что камни, торчащие из песчаных волн, олицетворяют тигрицу, которая со своим выводком переплывает реку; или что здесь изображены горные вершины над морем облаков. Чтобы ощутить подлинный смысл такого творения, его асимметричную гармонию, которая выражает всеобщую сущность вещей, вечность мира в его бесконечной изменчивости, слова не нужны.



При виде предметов блестящих мы, японцы, испытываем какое-то беспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из стекла, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, мы же такого блеска не выносим. Я не хочу этим сказать, что мы не любим вообще ничего блестящего. Но мы действительно отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути — лоска времен, или, говоря точнее, «заселенности».

Европейцы стремятся уничтожить всякий след заселенности, подвывая предметы жестокой чистке. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых отеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающие в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов.

Дзэнитиро Танидзаки, Похвала тени. Токио, 1932



Вообще говоря, мы делаем вещи с расчетом на прочность, японцы же — на недолговечность. Очень мало обиходных предметов предназначено в Японии для длительного использования. Соломённые сандалии, которые заменяются на каждом этапе пути; палочки для еды, которые всегда даются новыми и потом выбрасываются; раздвижные створки — сёдзи, которые служат как окна или как перегородки, заново оклеиваемые бумагой дважды в год;

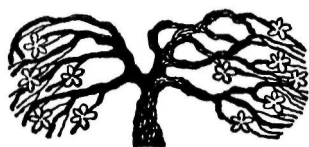
татами, которые заменяют каждую осень. Все эти примеры множества вещей повседневной жизни иллюстрируют примиренность японцев с недолговечностью.

Лафкадио Херн, Кокоро. Лондон, 1934



Чуткий ко всяким проявлениям движения жизни, японец мало любит форму, этот предел подвижности. Симметричность всего живущего, форм животных и растений — это явное выражение стремления природы к равновесию — оставляет его совершенно равнодушным. Он наблюдает и ухватывает в природе асимметричное, нарушенное равновесие, подчеркивает формы в момент изменения.

Г. Востоков, Японское искусство. Спб., 1904.



Обучение красоте

Едва ли не все религии мира считают коллективные обряды, то есть совместное приобщение людей к какому-то догмату веры, важнейшим средством воздействия на человеческие души.

А поскольку место религии в Японии в значительной мере занято культом красоты, роль таких коллективных обрядов играют тут традиции и церемонии, предназначенные для того, чтобы люди сообща развивали свой художественный вкус. Японский образ жизни породил целую систему таких коллективных эстетических упражнений, к которым регулярно прибегает народ.

Способность ценить красоту и наслаждаться ею — это не какое-то врожденное качество и не какое-то умение, которым можно раз и навсегда овладеть. Сознвая это, японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать, поддерживать и укреплять свой художественный вкус.

Зарубежные специалисты признают, что эстетическое воспитание в японской школе поставлено шире и основательнее, чем в других странах мира. Уже второклассник пользуется красками тридцати шести цветов и знает названия каждого из них. В погожий день директор школы вправе отменить все занятия, чтобы детвора от-

правилась на воздух рисовать с натуры или слушать объяснения учителя о том, как распознавать красоту в природе.

Однако ведущее место в эстетическом воспитании ребенка занимает обучение письму. Споры нет, иероглифическая письменность — тяжелое бремя для японского школьника. Она отбирает у него в первые годы обучения непомерно много времени и сил. Вместе с тем нельзя не отметить и другое. Каллиграфия, или искусство иероглифической письменности, пришла в Японию из Китая в ту пору, когда она уже на протяжении тысячи лет считалась одним из видов изобразительного искусства. На иероглифы в ту пору смотрели не только как на средство письменного общения.

Достоинства человеческого почерка считались прямым отражением его характера. Лишь морально совершенный человек мог, по тогдашним представлениям, стать мастером каллиграфии. И наоборот, всякий, кто овладел искусством иероглифической письменности, считался человеком высоких душевных качеств.

При обучении иероглифике стирается грань между чистописанием и рисованием. Когда освоены необходимые механические навыки, человек уже не пишет, а рисует; причем не пером, а кистью, приводя ее в движение не только рукой, но как бы всем телом.

При совершенном владении кистью и безукоризненном чувстве пропорций, нужных для иероглифического письма, каждый японец, по существу, становится живописцем. Ему ничего не стоит несколькими мгновенными, уверенными штрихами изобразить гнущуюся ветку бамбука с мастерством профессионального художника. Существование каллиграфии как одной из основ народного просвещения было важной причиной того, что многие традиционные черты японской культуры уцелели в обиходе современных поколений.

Вспомним об алтаре красоты в японском жилище — о токонома, то есть нише, подле которой садится глава семьи или гость. Это самое почетное место в доме принято украшать свитком с каллиграфически написанным изречением, чаще всего стихотворным.

Здесь, где каллиграфия смыкается с поэзией, мы видим второй пример упражнений в эстетизме — всеобщее занятие стихосложением. Поэзия всегда была в Японии одним из излюбленных видов народного искусства.

Каждый образованный человек непременно должен владеть как мастерством каллиграфии, так и мастерством стихосложения. Излюбленными формами массового поэтического творчества служат танка или хайку, которые можно в какой-то мере сравнить с афоризмами или эпиграммами. Танка состоит из пяти строк и тридцати одного слога, чередующихся как 5—7—5—7—7, а хайку, ставшая очень популярной с XVI века, — это танка без последнего двустушия, то есть семнадцатисложное стихотворение из трех строк.

Один художественный образ, непременно адресованный к какому-то из четырех времен года, плюс определенное настроение, переданное через подтекст, — вот что должна содержать хайку. В хайку об осени говорится:

Гляжу — опавший лист
Опять взлетел на ветку.
То бабочка была.

А вот хайку о лете:

Торговец всерами
Принес вязанку ветра.
Ну и жара!

О месте, которое занимала поэзия в духовной жизни Японии, свидетельствует то, что одним из первых письменных памятников была антология стихов, составленная в VII веке. Называется она «Манъёсю», то есть «Десять тысяч листьев».

До сих пор в середине января в Японии устраивается традиционное поэтическое состязание. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот общенациональный конкурс. Лучшие из них зачитываются на торжественной церемонии в присутствии императора, публикуются в газетах. Общественность проявляет живой интерес к авторам лучших хайку не только потому, что такой поэтический чемпионат проводится ежегодно с XIV века, но и прежде всего потому, что он остается неотъемлемой частью современной жизни.

Стихосложение в Японии — не только удел поэтов, а явление очень распространенное, если не сказать общенародное. Около двадцати ежемесячных журналов общим тиражом свыше миллиона экземпляров целиком посвящены поэзии.

Еще задолго до появления иероглифической письменности как моста к искусству рисовать и слагать стихи в быту японцев прочно укоренились обычаи коллективно любоваться наиболее поэтическими явлениями природы.

Зимой принято любоваться свежевывающим снегом. Весной — цветением сливы, азалий, вишни. Осенью — багряной листвой горных кленов и полной луной. Речь идет не о каком-то избранном классе. Металлургические заводы, профсоюзы шахтеров, электротехнические фирмы, рыболовецкие артели заказывают для этого целые экскурсионные автоколонны. Благодаря специальным пассажирским поездам и дополнительным автобусным маршрутам с льготными тарифами такие путешествия в общем доступны для средней трудовой семьи и во многом скрашивают ее будничную жизнь.

Однажды я оказался в Киото в день девятого полнолуния по старому календарю, когда принято любоваться самой красивой в году луной. Одно из лучших мест для этого — храм Дайгакудзи в Киото. Мне посоветовали приехать туда еще до темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы за озером поднимается неправдоподобно большая, круглая, выкованная из неровного золота луна.

По озеру среди серебрищихся листьев кувшинок двигались две крытые лодки: одна с головой дракона, другая — с головой феникса. На каждой из них светились бумажные фонарики, похожие формой на луну.

Как и большинство посетителей, я тоже устремился прежде всего к лодке и, лишь сделав в ней круг по озеру, отправился на широкий помост перед храмом. Оттуда было лучше всего любоваться луной и ее отражением в озере. Лишь тут я понял, что лодки с драконом и фениксом для того и плавали по озерной глади, чтобы еще больше облагораживать эту картину, создавать у нее передний план.

Конечно, было бы очень просто осмеять все это. Помню, сколь удручающее впечатление произвел на меня парк Уэно, когда я впервые отправился посмотреть, как любуются цветением сакуры жители Токио. Крошечный парк, едва уцелевший среди огромного города, кишел народом. Толпа сплошь заполнила пространство между деревьями. Люди принесли с собой циновки, снесь и, конечно, выпивку. Дети гонялись друг за другом, женщины болтали, мужчины пели песни, хлопая в ладоши и раска-

чиваясь в такт. На первый взгляд казалось, что людям мало дела до розовых соцветий, украсивших деревья. Но только на первый взгляд...

Можно было бы теми же глазами посмотреть и на сцену любования луной. Осмеять вереницы автобусов, которые подбрасывали к храму все новые полчища экскурсантов, толпившихся на монастырском дворе, словно перед входом в метро.

Можно было бы посмеяться над лодчицами, которым предстояло угостить тридцать человек за несколько минут, пока лодка совершает свой круг по озеру. Каждая девушка должна была подойти к пассажиру, встать перед ним на колени, сделать глубокий поклон, почти касаясь лбом пола, а затем предложить ему пряники в виде луны и чашу с напитком, приготовленным по всем правилам чайной церемонии.

Можно было бы посмеяться над стариком, который сидел рядом со мной и все время ревниво следил за тем порядком, в котором девушки обслуживают гостей. А ведь им приходилось торопиться, как стюардессам в самолете, и в то же время сохранять необходимую для чайной церемонии степенность. Можно было бы посмеяться над тем, что многие из пассажиров вроде бы и не взглянули в сторону, где висела над озером луна.

И все-таки это было бы несправедливо. Все-таки увиденное в тот вечер прежде всего вызывало чувство уважения. Полюбоваться самой красивой в году луной люди пришли как на народный праздник. Наслаждаться этой картиной из собственной уединенной беседки над озером, может быть, и лучше. Но что плохого в том, что такую возможность хотели иметь для себя не единицы, а сотни и тысячи людей? Все-таки это был повод лишний раз приблизиться к природе, приникнуть душой к ее красоте.

Толпы людей, собравшихся полюбоваться луной, свидетельствовали; что чувство прекрасного глубоко пронизывает повседневную жизнь народа.

Итак, японцы не религиозны. Но вместо икон в каждом японском жилище есть как бы алтарь красоты — ниша, где стоит ваза с цветами, висит картина или каллиграфически написанное стихотворение. Японцы не религиозны, однако вместо коллективных богослужений они создали обычаи, помогающие людям сообща развивать в себе художественный вкус.

Коллективное любование природой, письменность, неотличимая от рисования; стихосложение, смыкающееся с каллиграфией — все эти традиции донные сохраняют свою силу, свое несомненное влияние на жизненную философию и национальный характер японцев.



Первые века работали только художники — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов с их предельно лаконической выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства.

Посмотрите, например, на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, телеги, рыбы, феникса и многих других. Голая широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает одной рукой низ живота. Может быть, русский академик Марр, этот Велимир Хлебников от науки, когда-нибудь блистательно докажет, что поза Милосской Венеры взята от китайского иероглифа женщины, который теперь читается «ню» и смело ассоциируется с французским словом «ню».

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по сине-золотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы, ни ног, — зато показан зигзаг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского XX века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым, — здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно.

Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспособлять к жизни, а во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была поэзией понятий.

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов; «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — человек, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «грозот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома и др.

Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный, юркий»; иероглиф «облака

или клубы пара, поднимающиеся вверх» стал означать «говорить», а иероглиф «вяленые куски мяса» — «старый, древний» и т. д.

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему если на картинах наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно обучается живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

Роман Ким, Ноги к змее. Ленинград, 1927



Цветы и чай

Помнится, слово «икэбана» не давало мне покоя, когда я готовил репортаж о том, как жены погибших в забое горняков объявили голодовку на месте подземной катастрофы. Профсоюз шахтеров Миике славится на всю Японию своими боевыми традициями, причем значительная доля его славы принадлежит женщинам из Союза осиротевших семей.

Вот эти-то горнячки, сутки за сутками бастовавшие в забое, ставшем могилой их мужей, потрясли Японию своим героизмом. После того как я побывал на месте стачки, ее участницы пригласили меня в контору профсоюза.

— Не беседовать же в темноте!

Мы подошли к ветхому бараку, над которым развевался красный забастовочный флаг. Я знал, что именно там отдыхали женщины, сменившиеся после трех суток голодовки под землей. Но могло ли прийти мне в голову, что я застану их за изучением искусства компоновать цветы? В увешанной лозунгами конторе в разгар стачки шло очередное занятие кружка икэбана.

— Мы гордимся нашим кружком, — сказали мне активистки. — Он помог нам встретиться горе единой семьей. Именно занятия икэбана впервые сблизили здешних горнячек, и примеру Миике следуют теперь другие профсоюзы, когда создают у себя женские организации...

Я очень хотел описать эту сцену, но так и не нашел повода вставить ее в корреспонденцию. Вроде бы при чем тут цветы, если речь идет о забастовочной борьбе проле-

тариата? А упомянуть о кружке икэбана стоило. Ведь искать красоту в сочетаниях тюльпанов и сосновых ветвей, чтобы почерпнуть в этом силы после многодневной голодовки в мраке забоя, — в этом воплотилась типичная черта японского характера.

Или вот пример из совсем другой области жизни.

Японцы посмеиваются над американской привычкой судить об общественном положении человека по его доходу. Однако порой и этот критерий кое о чем говорит. Нет причин удивляться тому, что самым богатым человеком в Японии, налогоплательщиком номер один из года в год оказывался глава концерна «Националь» Коносукэ Мацусита — человек, с именем которого связана послевоенная электрификация японского быта.

Но если отрешиться от дельцов и политиков, от промышленников и торговцев и обратиться к так называемым «лицам свободных профессий», то есть представителям культуры, искусства, спорта, то здесь нас ждет сюрприз. Окажется, что самые высокооплачиваемые люди в этой области — мастера компоновать цветы в вазе. Они опережают даже звезд кино- и телевизионного экрана, даже прославленных игроков профессионального бейсбола, не говоря уже о писателях, художниках, музыкантах.

Список налогоплательщиков среди лиц свободных профессий возглавляет Софу Тэсигахара — основоположник нового направления в искусстве икэбана. Основанная им в 1926 году школа Согецу («Травы и луна») имеет около миллиона последователей и сотни кружков по всей Японии. Полушутя, полусерьезно японцы говорят, что такого человека, как Тэсигахара, можно по влиятельности сравнить с руководителем политической партии, ибо он вполне мог бы проводить своих депутатов в парламент и, уж во всяком случае, набрал бы достаточно голосов, чтобы попасть туда самому.

В центре Токио красуется здание, построенное архитектором Кэндзо Танге. Это штаб-квартира школы Согецу. Сюда со всей страны текут конверты с зеленой каймой — денежные переводы. В Японии вряд ли найдешь город, где бы не существовало кружка школы Согецу. Японка обычно проходит там двухлетний курс и треть платы за каждое полугодие посылает самому Тэсигахаре.

Я встретился с основателем школы «Травы и луна» после его возвращения из поездки в СССР. Мы долго беседовали тогда о философской основе икэбана.

Икэбана, по словам Тэсигахара, это самостоятельный вид изобразительного искусства. Ближе всего к нему стоит, пожалуй, ваение. Скульптор ваяет из мрамора, глины, дерева. В данном же случае в руках ваятеля — цветы, ветки.

Цель икэбана — выражать красоту природы, создавая композиции из цветов, керамики и других предметов. Но икэбана — это не только украшательство, не только один из декоративных приемов. Это и средство самовыражения. Даже используя одни и те же материалы, разные люди могут вложить в них разные настроения. Подлинного мастера икэбана не может удовлетворить лишь внешняя красота цветов. Он стремится заставить их заговорить на понятном людям языке.

Когда в процессе подражания учителю ученик освоит приемы икэбана, он сможет выражать в этом виде искусства собственные чувства и мысли.

Икэбана, повторил Тэсигахара, сродни ваению. Когда скульптор хочет из куска мрамора изваять человеческое лицо, он, по словам Чехова, должен удалить с этого куска все, что не есть лицо. Такое ваение можно условно назвать вычитательным, скульптурой со знаком минус. Икэбана, напротив, — это как бы скульптура со знаком плюс, или добавляющее ваение. Исходное здесь — пустое пространство, которое человек начинает заполнять, насыщать элементами красоты.

Для японского понятия «икэбана» в зарубежных языках до сих пор не найдено точного перевода. Принятое на Западе выражение «аранжировка цветов», так же как и русский термин «искусство составления букетов», не раскрывают сути икэбана как одного из видов ваения.

Иногда иероглифы икэ-бана дословно переводят как «живые цветы» или как «цветы, которые живут». Но и это определение нельзя назвать исчерпывающим. Ибо первый слог «икэ» не только означает «жить», но и является формой глагола «икасу», который значит «оживлять», «выявлять» и противоположен по смыслу глаголу «подавлять». Поэтому выражение «икэбана» можно перевести как «помочь цветам проявить себя».

Есть притча о мастере чайной церемонии Рикю, сад которого славился на всю Японию цветами повилики. Взглянуть на них решил даже сам сёгун Хидеёси. Придя, однако, в назначенное утро в сад, он с удивлением обнаружил, что все цветы срезаны. Уже начавший гневаться,

повелитель вошел в комнату для чайной церемонии и тут увидел икэбана из одного-единственного стебля повилики. Рикю принес в жертву все цветы своего сада, чтобы подчеркнуть их красоту в одном, самом лучшем.

Эту притчу рассказывают каждому японцу на первом же занятии икэбана. Его приучают к тому, что выразительность скупа; что, хотя икэбана в целом — это ваение со знаком плюс, с каждой отдельной ветки с листьями и цветами надо так же безжалостно удалять все лишнее, как скульптор скалывает с куска мрамора все, что не есть лицо.

Икэбана — порождение японского образа жизни. Этот вид искусства создан нацией, которая веками воспитывала в себе умение обращаться к природе как к неисчерпаемой сокровищнице прекрасного. Искусство икэбана горячо любимо народом именно за его общедоступность, за то, что оно помогает человеку даже в бедности чувствовать себя духовно богатым.

Помню, как в токийском пресс-клубе один заокеанский журналист, оказавшийся в Японии проездом во Вьетнам, иронизировал по поводу своего первого знакомства с чайной церемонией.

— Представьте себе, что парикмахер и еще три или четыре человека, ожидающих очереди побриться, уселись на полу совершенно пустой, полутемной семиметровой комнаты. Действия парикмахера похожи на обычные: он насыпает в чашку мыльный порошок, заливает его кипятком, взбивает пену кисточкой для бритья. Но делается все это так, словно он верховный жрец, выполняющий религиозный обряд. А все другие молча следят за этим священнодействием. Попробуйте теперь мысленно заменить мыльный порошок растертым в пудру зеленым чаем, который при заваривании взбивают бамбуковой метелочкой, очень похожей на кисточку для бритья, и вы получите полную картину этого японского чуда...

Для заезжего иностранца чайная церемония — в самом деле не больше, чем неправдоподобно затянутое чаепитие, сопровождаемое непонятным ритуалом.

Но чайный обряд — это тоже ключ к национальному характеру, не менее важный, чем бусидо (путь воина) — моральный кодекс самурая, о котором на Западе так много писали.

«Он умеет жить» — это обывательское выражение имеет для японца диаметрально противоположный смысл: человек, умеющий жить, видит радости жизни там, где другие проходят мимо них. Чайная церемония учит находить прекрасное в обыденном. Это соединение искусства с буднями жизни.

Если страсти, бушующие в человеческой душе, порождают определенные жесты, то, считают мастера чайной церемонии, есть и такие жесты, которые способны воздействовать на душу, успокаивать ее. Строго определенными движениями, их красотой и размеренностью чайная церемония создаст покой души, приводит ее в то состояние, при котором она особенно чутко отзывается на вездесущую красоту природы.

В чайной церемонии участвует не больше пяти человек. Даже если дело происходит днем, в комнате должен стоять полумрак. На каждом предмете лежит печать времени. Есть только два исключения — белоснежный льняной платок и ковш, сделанный из спиленного куска бамбука, которые бывают подчеркнута свежими и новыми.

Комната для чайной церемонии оформляется с изысканной простотой, воплощающей в себе классическое японское представление о прекрасном. Причем эта подчеркнутая простота или даже изысканная бедность часто очень дорого обходится хозяину, потому что какое-нибудь кривое бревно может быть сделано из очень редкой породы дерева и к тому же иметь особую цену из-за своих художественных достоинств.

Не только большинство японских женщин, но и многие мужчины доньше изучают каждое движение чайной церемонии. Это показывает, насколько живучи в Японии традиции.

Влияние чайной церемонии сказывается во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как «ваби», «саби», «сибуй». Порождением чайной церемонии явилось и искусство икэбана. Японская керамика никогда не достигла бы таких вершин, если бы не этот ритуал, который оказал также глубокое влияние и на правила поведения японцев.

Мост между искусством и природой, а также мост между искусством и будничной жизнью — ключевые характеристики японской культуры. В этой стране никогда

не существовало деления искусства на чистое и прикладное. Японцы привыкли отождествлять прекрасное с целесообразным, и любой предмет их домашней утвари содержит в себе красоту и практичность.

У западных искусствоведов существует выражение, что японская культура — это цивилизация пустыков. Видимо, верно то, что японцы преуспели в практических мелочах больше, чем в широких абстрактных идеях. В японском языке есть термин «массё буммей» — «цивилизация сосновой иглы» (под этим имеется в виду умение наслаждаться красотой кончика сосновой хвоинки вместо того, чтобы пытаться охватить взором целое дерево).

От японцев часто слышишь, что иностранцы, особенно американцы, предпочитают прекрасное в огромных порциях. Красоты одной капли росы им недостаточно — нужны километры расписанного полотна, галереи картин, уставленные скульптурой дворцы.

Японцы не любят оценивать искусство на бегу, принося его лишь как часть повседневной жизни. Чайная церемония, мастерство икэбана, стихосложение, любование природой — все это объединено у них названием «фурю», что можно перевести несколько старомодным термином «изящные досуги». Человека, который пренебрегает ими в жизни, считают ничтожеством.

Японцы, побывавшие в Соединенных Штатах, поражаются тому, как много там людей — и причем людей богатых — не имеют никаких художественных интересов. В противоположность этому у японцев, особенно в пожилом возрасте, непременно есть излюбленные увлечения: живопись, выращивание хризантем, коллекционирование керамики и т. д. «Изящные досуги» отнюдь не достояние одних лишь эстетов или кучки богачей.

Хороший вкус в Японии вполне уживается с бедностью. Здесь сказалось, во-первых, отсутствие деления искусства на чистое и прикладное, что привело к высоким художественным требованиям ко всем без исключения предметам домашнего обихода; а во-вторых, регламентация быта, которая доходила в феодальной Японии до поразительных размеров.

Земледелец, собиравший в год сто кулей риса, мог строить себе дом не длиннее чем в шестьдесят ступней и крыть его соломой, но не черепицей. Он не имел права есть рис, посеянный и сжатый своими руками, как не

имел права носить шелк крестьянин, выращивавший шелковичных червей. Глина для его посуды, бумага для его окон, гребень в волосах его жены и даже кукла у его дочери — все это было предписано и узаконено властями.

Именно в эпоху жесткой регламентации быта простейшая утварь вроде чугунного чайника, бумажного фонаря или бамбуковой ширмы обрела своеобразную прелесть, неведомую дешевой массовой продукции Запада.

Так умеренность и сдержанность превратились в национальную черту. Строгий вкус стал как бы моральной нормой, а дурной вкус — чем-то вроде социального зла.

Услышав выражение «о вкусах не спорят», японец охотно согласится с ним, хотя вкладывает в эти слова совсем другой смысл, чем мы. В Японии о вкусах не спорят, но не потому, что у каждого человека может быть свой вкус, а потому, что хороший вкус стал неписанным законом.

Культивируя и развивая в себе чувство прекрасного, японцы в то же время четко предопределили его рамки. И здесь утонченный вкус мог идти лишь вглубь вместо запретного стремления идти вширь, раздвигая эти рамки.

Утвердив в своем обществе вкус по указу, японцы издавна стремились распространить свое представление о красоте и гармонии на область человеческих взаимоотношений. Выражение «некрасивый поступок» приобретает в Японии свой самый буквальный, первоначальный смысл.



В японце мы находим мало понятное для нас сочетание артистичности природы с отсутствием чувства личности. У нас артистическая натура неразрывно связана с сознанием своей индивидуальности, своей личной особенности и своей личной самооценности, но у японцев сознание особенности и мерило ценности прилагаются, по-видимому, к индивидуальности не личной, а собирательной, каковою является нация.

Г. Востоков, Общественный, домашний и религиозный быт Японии. Спб., 1904.



Иностранный обыватель в своем самодовольстве видит в чайной церемонии лишь еще один пример тысячи и одной странности, которые составляют непостижимость и ребячливость Востока. Преж-

де чем смеяться над этим обрядом, стоит подумать, как, в сущности, мала чаша человеческих радостей и сколь мудры те, кто умеет ее заполнить. Чайная церемония для японца — это религия. Это обожествление искусства жить.

Какудзо Окакура, Книга о чае. Токио, 1906



Рожденные в стране, изобилующей теми элементами природы, которые стимулируют поэтическую практику и формирование чувствительной души, а именно горами, морями, а также четкой сменой четырех времен года, японцы усовершенствовали методы дистиллирования красоты из этих богатств до степени, неведомой нам. Обычай любоваться цветущими деревьями, падающим снегом или полной луной выдает некоторые главные черты японского вкуса. В целом этот вкус скорее строгий, чем необузданный, скорее коллективный, чем индивидуальный, и сверх того — в высшей степени избирательный. Поскольку вкус в Японии находится в общественном пользовании, он никогда не носит на себе личного клейма. Образцы красоты обретают поэтому силу закона.

Бернард Рудолфски, Мир кимоно. Лондон, 1966



Минувшие века сделали японца человеком, который относится к жизни прежде всего как художник, эстет. Он не является человеком принципа. Основным законом его общественной и личной жизни служит не столько мораль, религия или политика, сколько нормы прекрасного. «Эстетическое объяснение Японии» — вот хороший заголовок для книги, которую следовало бы когда-нибудь написать.

Робер Гиллен, Япония. Париж, 1961



ИХ МОРАЛЬ

Всему свое место

«Всему свое место» — эти слова можно назвать девизом японцев, ключом к пониманию многих сильных и слабых сторон их национального характера. Девиз этот воплощает в себе, во-первых, своеобразную теорию относительности применительно к морали; а во-вторых, утверждает субординацию как незыблемый, абсолютный закон семейной и общественной жизни.

Японцы избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои законы, собственный моральный кодекс. Вот излюбленное сравнение, которое они приводят на этот счет:

— Нельзя утверждать, что ехать на автомашине по правой стороне улицы всегда правильно, а по левой — всегда ошибочно. Дело лишь в правилах уличного движения, которые в Токио и Москве различны.

Японцам несвойственно обвинять человека в том, что он не прав вообще. В их суждениях прежде всего четко обозначается область, в которой он совершил ту или иную погрешность, то есть нарушил предписанные для данной области правила. Универсальных мерок не существует: поведение, допустимое в одном случае, не может быть оправдано в другом.

Вместо того чтобы делить поступки на правильные и неправильные, японец оценивает их как подобающие и неподобающие: «Всеу свое место».

Второе значение этого девиза также дает о себе знать на каждом шагу. Когда несколько японцев собираются у стола, все они точно знают, кто где должен сесть: кто у ниши с картиной, то есть на самом почетном месте, кто по левую руку от него, кто еще левее и кто, наконец, у входа. Любая попытка проявить тут какой-то демократизм вызовет лишь всеобщее смятение — ведь тогда никто из присутствующих не будет знать, что ему делать. (Именно это происходит, когда заезжий иностранец, желая прослыть скромным, упрямо отказывается от предназначенного ему места.)

Когда японец говорит о неразберихе, он выражает ее словами: «ни старшего, ни младшего». Без четкой субординации он не мыслит себе гармонии общественных отношений.

Несмотря на всю свою модернизацию, Япония до сих пор в немалой степени остается иерархическим обществом. Каждый контакт, в который вступают между собой люди, тут же указывает на род и степень социальной дистанции между ними. Не только обращения, но и местоимения: я, ты, он и даже глаголы, обозначающие простейшие житейские действия, в разных случаях звучат по-разному.

Японская домохозяйка ежедневно обменивается бесчисленным количеством церемонных приветствий и пустопорожних фраз о погоде с разносчиками и мелкими торговцами, которые, как правило, живут тут же, по соседству, в задних комнатах или на вторых этажах своих лавочек. Но домохозяйка, которая знакома с этими людьми много лет (нередко — с детства) и которая общается с ними буквально каждый день, не знает не только их имен, но даже фамилий.

Овощи ей приносит зеленщик-сан, рыбу — рыбник-сан. Когда нужно подстричь куст азалий перед крыльцом, приглашается садовник-сан. Если сломался телевизор «Мацусита», звонят Мацусита-сан (разумеется, не президенту крупнейшего электротехнического концерна, а владельцу соседней лавочки, торгующей изделиями этой фирмы, у которого и был приобретен телевизор).

Велосипедиста, который развозит по утрам газеты, женщины а пересулке зовут «Асахи-сан», хотя паренек

этот известен им с младенческих лет как сын молочника-сан.

Чем же объяснить, что, несмотря на присущую японцам учтивость, донныне есть люди, которые вынуждены всю жизнь оставаться безымянными для других? Это наследие феодальных времен, когда японское общество строго делилось на четыре сословия: воины, земледельцы, ремесленники, торговцы.

Носить фамилии (а стало быть, и родовые гербы на кимоно) могли тогда лишь воины. Торговцы же, как самое низкое среди последующих трех сословий, то есть среди простолюдинов, оказались даже и без имен. К ним было предписано обращаться по названию их дела.

Домохозяйка называет теперь своего соседа Мэйдзи-сан вместо молочник-сан не потому, что сословные пережитки наконец утратили силу, а потому, что знакомому лавочнику пришлось сменить вывеску и пойти в кабалу к фирме «Мэйдзи», которая монополизировала торговлю молоком.

На протяжении столетий сословные разграничения дополнялись в Японии подробнейшей регламентацией быта. Одежда, которую человек мог носить, пища, которую он мог есть, размеры дома, в котором он мог жить, — все это определялось его унаследованным от роду положением.

Мы привыкли к тому, что в семейном кругу люди относятся друг к другу без особых церемоний. В Японии же именно внутри семьи постигаются и скрупулезно соблюдаются правила почитания старших и вышестоящих.

В этой домашней иерархии каждый имеет четко определенное место и как бы свой титул. Почести воздаются не только главе семьи, но и всякому, кто стоит хоть ступенькой выше. Когда сестры обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам.

Еще когда мать по японскому обычаю носит младенца у себя за спиной, она при каждом поклоне заставляет кланяться и его, давая ему тем самым первые уроки почитания старших. Чувство субординации укореняется в душе японца не из нравоучений, а из жизненной практики. Он видит, что мать кланяется отцу, средний брат — старшему брату, сестра — всем братьям независимо от возраста. Причем это не пустой жест. Это признание своего

места и готовность выполнять вытекающие из этого обязанности.

Привилегии главы семьи при любых обстоятельствах подчеркиваются каждодневно. Именно его все домашние провожают и встречают у порога. Именно он первым окунается в нагретую для всей семьи воду фуру — японской ванны. Именно его первым угощают за семейным столом.

Мало найдется на земле стран, где детвора была бы окружена большей любовью, чем в Японии. Но печать субординации лежит даже на родительских чувствах. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей. К нему относятся буквально как к наследнику престола, хотя престол этот всего-навсего родительский дом.

С малолетства такой малыш часто бывает самым несносным в доме. Его приучают воспринимать поблажки как должное, ибо именно на него ляжет потом не только забота о престарелых родителях, но и ответственность за семью в целом, за продолжение рода, за отчий дом. По мере того как старший сын подрастает, он вместе с отцом начинает решать, что хорошо и что плохо для его младших братьев, сестер.

Японец с детских лет привыкает к тому, что определенные привилегии влекут за собой определенные обязанности. Он понимает подобающее место как рамки дозволенного, то есть, с одной стороны, как известные ограничения, а с другой стороны, как гарантию известных прав.

Примером этой своеобразной диалектики служит положение женщины в семье. Феодалный домострой прославлял покорность и готовность к самопожертвованию как идеал женственности. Поныне сильны взгляды, что японка до замужества должна подчиняться отцу, после свадьбы — мужу, а став вдовой — сыну. И тем не менее она имеет куда больше прав, чем женщины в других азиатских странах. Причем права эти не результат каких-то современных веяний, а следствие отведенного женщине «подобающего места».

Именно на плечи женщины возложены заботы о домашнем хозяйстве. Но ей же полностью доверен и семейный кошелек. О сбережениях на будущее должен думать глава семьи. Он решает, какую долю заработка потратить на текущие нужды. Но выделенными для этого деньгами японка вправе распоряжаться по собственному

усмотрению. Именно она вершит дела внутри семьи, и мужчине не полагается вмешиваться в эту область.

Символом положения хозяйки издавна считается самодзи — деревянная лопаточка, которой она раскладывает домочадцам рис. День, когда состарившаяся свекровь передает самодзи своей невестке, принято было отмечать торжественной церемонией.

Обычай этот забыт, но суть его сохранилась. От японцев часто слышишь, что после войны становится все больше семей, где женщины верховодят не только домашним хозяйством, но и самими мужчинами.

Со стороны это, впрочем, незаметно, да по японским понятиям и не должно быть заметно. Если пройтись по токийскому переулку в утренний час, у каждой двери увидишь одну и ту же картину: жена провожает мужа до порога, подает ему пальто, кланяется ему вслед. Знаки почтения и покорности оказываются главе семьи независимо от того, главенствует ли он дома фактически.

Это важная черта японского понимания субординации. Начиная от императоров, вместо которых страной столетиями правили военачальники (сёгуны), и кончая общиной или даже семьей, молчаливо признавалось, что номинальный глава иерархии отнюдь не всегда обладает фактической властью. Тем не менее положенные почести должны адресоваться именно ему. Какие бы силы ни управляли делами из-за кулис, на сцене для видимости ничего не меняется.

Сжившись с субординацией еще в собственной семье, человек привыкает следовать ее принципам и в общественных отношениях. Необходимость постоянно подчеркивать престиж вышестоящих сковывает в японцах чувство личной инициативы.

«Не прогуливай, не опаздывай, не усердствуй», — гласит заповедь, которую слышит японский служащий, впервые переступая порог фирмы. И пока он будет оставаться в роли исполнителя, он действительно постарается не делать ничего, что выходило бы за пределы его прямых обязанностей и ответственности. Особую склонность избегать самостоятельных решений проявляют в японском деловом мире люди, только что повышенные в ранге. Это одинаково присуще и столоначальнику, и вновь назначенному члену совета директоров.

Японская мораль не стимулирует появление выдающихся личностей. Она, словно молоток, тут же бьет по

гвоздю, шляпка которого слишком торчит из доски. При всей кажущейся предприимчивости японцы слабо наделены чувством личной инициативы. И этот недостаток творческого начала во многом объясняется их врожденным стремлением ни на шаг не переступить границ подобающего места.

Завет «делай что положено» понимается в двояком смысле. Высовываться из шеренги, забегать вперед старших недопустимо; браться же за дела, предназначенные для подчиненных, — унизительно. Вот характерный пример. Иностранец, работающий переводчиком в редакции японской газеты, закончил срочную статью и понес ее в типографию. У входа на лестницу он столкнулся с японским коллегой, который также направлялся вниз.

— Раз вы идете в типографию, то не передадите ли заодно этот текст линотипистам? — попросил переводчик.

Японец остолбенел, словно ему предложили броситься в лестничный пролет. Молча взяв текст, он с трудом превозмог себя и зашагал вниз. Лишь когда японские сослуживцы принялись корить иностранца, он понял, что нанес оскорбление.

— Как можно было обращаться с такой просьбой к отцу двух детей? Ему пришлось нести вашу статью вниз, словно простому курьеру. Это в его-то возрасте, в его-то положении...

Концепция подобающего места требует: не берись не за свое дело. Это лишает людей самостоятельности во множестве практических мелочей, из которых складывается повседневная жизнь. Почти никогда не увидишь японца, который мастерил бы что-нибудь дома своими руками.

Сборщик телевизоров не имеет представления о том, как отремонтировать электрический утюг. Если в конторе радиотехнической фирмы перегорят пробки, никто из служащих не вздумает заменить их сам.

Когда нужно что-нибудь починить или приладить, по всякому пустяку принято вызывать мастера. Причем каждый такой мастерской глубоко убежден, что лучше заказчика разбирается в своем деле, и потому философски относится ко всякого рода пожеланиям и советам, попросту пропуская их мимо ушей.

Бессмысленно, например, доказывать японскому портному, что костюм должен сидеть не так, а иначе. Горничная в японской гостинице может чуть свет зайти в комнату и раздвинуть оконные створки, даже если на

улице холодно и постояльцу вообще хотелось бы поспать еще часок-другой. По ее мнению, она лучше знает, когда надо вставать.

Знай свое место; веди себя как подобает; делай что тебе положено — вот неписанные правила, регулирующие жизнь и поведение японцев.



Японцы строят свои взаимоотношения, постоянно оглядываясь на иерархию. В семье надлежащее поведение определяется возрастом, поколением, полом, в общественных отношениях — рангом. До тех пор пока подобающее место сохранено, человек мирится с ним. Японцев удивляло, что народы оккупированных ими стран отнюдь не встречали их с распростертыми объятиями. Разве Япония не предлагала им подобающего места — пусть более низкого, но определенного — в иерархии азиатских народов? Японцы считают свою концепцию подобающего места настолько бесспорной, что даже не поясняют ее. Однако без понимания этой концепции нельзя понять сложную механику личных и общественных взаимоотношений японцев.

Рут Бенедикт, Хризантема и меч. Нью-Йорк, 1946

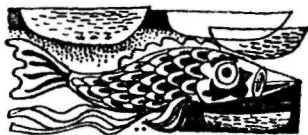


Поначалу у вас создается впечатление, что японки — это угнетенные, робкие, неспособные принимать самостоятельные решения создания, которые ловят каждое слово своего мужа. Но во многих случаях это только иллюзия, внешняя сторона привычки. От женщин всегда требовалось, чтобы они именно так себя вели. И по всей вероятности, даже в прошлом подчинение японских женщин никогда не было столь безусловным. Японки старшего поколения, хотя и выглядят покорными и послушными, в большинстве своем обладают сильным характером и волей. Они умеют прекрасно владеть собой и своей дипломатичностью и настойчивостью добиваются от мужей намного больше, чем энергичные европейки и американки. Что касается повседневной жизни, то все хозяйственные вопросы японки решают сами. Создается даже впечатление, что многие мужчины скрывают за маской хозяина положения нерешительность, неверие в себя, неспособность чего-либо добиться и стремление опереться на кого-либо другого, то есть те качества, которые у большинства японских женщин полностью отсутствуют. Мужчины любят делать вид, что они все понимают, женщины, наоборот, стремятся свои способности скрыть и показывают, что все, что они делают и говорят, — свидетельство мудрости главы семьи и что их успехи — это прежде всего успехи мужа.

Однажды мы были свидетелями торга в крестьянской семье, у которой хотели снять в аренду небольшой домик у моря. Все переговоры, естественно, велись с главой семьи. Мужчина сидел

на татами у большого хибати и с серьезным видом дымил сигаретой в длинном мундштуке. За ним на корточках сидела его супруга — ничего не значащая тень великого мужчины. Но она с большим вниманием следила за тем, что говорит глава семьи, и, когда ей что-то не нравилось, она начинала очень вежливо шептать ему на ухо. Мужчина кашлял, некоторое время курил и затем высказывал новую мысль, словно она только что пришла ему в голову. Тень за его спиной удовлетворенно кивала головой и продолжала почтительно слушать.

Ян и Власта Винкельхофор, Сто взглядов
на Японию. Москва, 1965



Верность — долг признательности

Существуют невидимые нити, которые накрепко привязывают японца к подобающему месту. Это узы долга.

Красугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим. «Лишь сам став отцом или матерью, человек до конца постигает, чем он обязан своим родителям», — гласит излюбленная пословица. Почитание родителей, а в более широком смысле покорность воле старших — вот в представлении японцев самая важная моральная обязанность человека. Преданность, основанная на долге признательности, является для них первой из добродетелей.

Преданность семье, клану, государству должна быть беспредельной и безоговорочной, то есть человек обязан подчиняться воле старших и вышестоящих, даже если они не правы, даже если они поступают вопреки справедливости.

В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заимствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось на том, что сын должен быть сыном, а отец — отцом; подданный — подданным, а повелитель — повелителем. Это значит, что сыновней почтительности достоин лишь хороший отец, что на преданность младших или нижестоящих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человеколюбив и милосерден по отношению к ним.

Японцы, стало быть, выхолостили принцип «жэнь» (гуманность, человечность), служивший в древнекитай-

ской морали стержнем человеческих взаимоотношений. В японской трактовке принцип этот низведен до уровня благотворительности, то есть черты пусть даже похвальной, но не обязательной; черты, которая воплощает добрую волю человека, выходящую за рамки его прямых обязанностей.

Сколько бы ни изменилась натура японца под влиянием современности, ему донныне присуща покорность родительской воле как выражение долга признательности. Конечно, в наши дни умножились примеры, когда молодежь так или иначе выходит из повиновения старшим, когда сын отказывается жениться на сосватанной невесте или наследовать семейную профессию. Видя, как молодые пары гуляют по улицам обнявшись, можно подумать, что жизнь не оставила от феодального домостроя камня на камне. А между тем это заблуждение.

Пусть японский язык заимствовал английское слово «дейт» — свидание, без которого он прежде обходился. Пусть самостоятельные знакомства и встречи между юношами и девушками все больше входят в обиход. Главное не изменилось — свадьба в Японии до сих пор остается делом не столько личным, сколько семейным. И хотя о браках по любви сейчас много говорят, они все-таки остаются скорее исключением, чем правилом.

В 1960 году родители были инициаторами 85 процентов свадеб. В течение последующего десятилетия число браков по сватовству сократилось, но по-прежнему составляет большинство.

Это значит, что молодые японцы все еще не обладают самостоятельностью при решении важнейшего из жизненных вопросов. Считается, что лишь старшие могут найти молодежи достойных спутников жизни.

Долг сына — жениться на девушке, избранной родителями, даже если он не чувствует к ней влечения. Хороший сын выплачивает долг признательности отцу и матери тем, что не ставит под вопрос их решение на этот счет.

Если мужчина последовал родительской воле и обеспечил продолжение рода, он может иметь сколько угодно внебрачных связей, не испытывая угрызений совести и не посягая, как ему кажется, на устои собственной семьи.

Помимо многочисленности браков по сватовству, есть еще один признак того, что старинный семейный уклад

все еще сохранился в Японии. Это широко распространенная практика усыновления. Феодалный домострой строго требовал от каждого обеспечить продолжение рода по мужской линии. Собственность семьи, оказавшейся без такого наследника, немедленно конфисковывалась, невзирая на остальных родственников.

Старые законы давно отменены, однако стремление непременно иметь сына по-прежнему присуще в Японии любой супружеской паре. Дело тут не только в продолжении рода. Не иметь сына — значит для японца обречь себя на одинокую старость.

Доживать свой век под одной крышей с замужней дочерью здесь до сих пор не принято. (Существует множество японских пословиц о взаимоотношениях невестки и свекрови, но нет ни одной о зяте и теще.) Сына оттого и почитают с рождения словно наследника престола, что именно на него ложится потом долг заботиться о престарелых родителях.

Если в семье есть лишь дочери, отец и мать подыскивают одной из них жениха, согласного на усыновление. При такой свадьбе муж берет себе фамилию жены вместе с сыновними обязанностями по отношению к приемным родителям.

Устои патриархальной семьи — это устои японского образа жизни. Его столпы — субординация и семейственность. Правота и неправота определяются здесь не абстрактными понятиями добра и зла, а признанием своего места в сложном переплетении взаимных обязанностей. Излюбленная американцами фраза: «Я никому ничего не должен» — немыслима в устах японцев.

Человек в Японии постоянно чувствует себя частью какой-то группы — то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он приучен подчиняться мнению этой группы и вести себя соответственно своему положению в ней. Он готов выплачивать долг признательности своему покровителю столь же безоговорочно, как собственному отцу.

В этом-то и коренятся причины неистребимой фракционности, а проще говоря — групповщины или семейственности, которые пронизывают общественную и политическую жизнь Японии, проникая даже в деловой мир.

Японцы не упускают случая подчеркнуть свою принадлежность к тому или другому клану, а также свое

положение в нем, — без знания этого им трудно общаться друг с другом. Вот почему столь важной считается здесь процедура взаимного представления.

В прежние времена представляться друг другу обязанности были даже воины на поле брани. Описывая попытку монгольского вторжения в Японию в 1274 году, историк Бринклей замечает, что учтивые самураи были поражены, когда в ответ на их заявления об именах и титулах, заморские варвары кинулись на них беспорядочной ордой, не проявляя интереса к выбору достойных противников.

На свадебных церемониях и сейчас еще можно видеть старинный наряд, предназначенный для самых торжественных случаев: черные кимоно с белыми родовыми гербами. В современной жизни место соперничающих родов заняли конкурирующие фирмы, а роль гербов на кимоно унаследовали значки этих фирм, которые обычно носят служащими на лацканах пиджаков.

Еще шире вошли в японский обиход визитные карточки, сразу же позволяющие судить, кого представляет человек и каков его ранг. Японцы сейчас совершенно не могут обходиться без визитных карточек, и не только потому, что они упростили ритуал представления друг другу.

Как прежде родовым гербом, японец демонстрирует значком фирмы или визитной карточкой свою принадлежность к определенной группе, свою готовность ставить личную преданность выше личных убеждений. Такая беспредельная и безоговорочная верность, основанная на долге признательности семье, общине или какой-то другой группе, считается у японцев краеугольным камнем морали.



Семейный строй в Японии выполняет, помимо своего специального назначения, еще одну социальную функцию чрезвычайной важности: семья является институтом страхования на случай старости. Глава японской семьи воспитывает старшего сына-наследника, выделяя его из всех прочих членов семьи, и несет всю тяжесть семейных обязанностей до 50-летнего возраста. С этого времени он сдает свою власть и всю деловую сторону семейной жизни своему старшему сыну, а сам больше ни во что активно не входит; остаток дней своих он и его жена проводят без всяких забот, со-

храняя при этом в семье в высшей степени достойное положение. Таким образом, строй японской семьи парализует в громадном большинстве случаев одно из крупнейших и наиболее вопиющих зол, свойственных Европе: необеспеченность рабочих людей на случай старости.

Г. Востоков, Общественный, домашний
и религиозный быт Японии. Спб., 1904



Покорность воле старших и вышестоящих подавляет в японцах личную инициативу, рождает привычку мыслить и действовать сообща. Решение любого вопроса в японской конторе начинается с поисков прецедента. Обсудив на этой основе возможный курс действий, его выносят на одобрение вышестоящих. Вместо личного решения налицо, стало быть, общее анонимное согласие поступать как прежде.

Итиро Кавасаки, Япония без маски. Токио, 1969



Японские политики, дельцы, кинорежиссеры и даже спортсмены чрезвычайно безлики и бесцветны как индивидуальности, и никакие трюки пишущей машинки не способны оживить их настолько, чтобы средний читатель мог заинтересоваться ими.

Японское общество не признает выдающихся личностей, оно тянет назад всякого, кто стремится опередить остальных. Самые умные и рассудительные японцы постигают это раньше других. Поэтому именно люди, талант которых мог бы сделать их яркими индивидуальностями, превращаются в наибольших приспособленцев и делают свою карьеру именно японским путем, как почти анонимные члены какой-то группы.

Даже в мире искусства индивидуальность является крамольным словом. Известна история дирижера Сейдзи Одзава. Когда он вернулся в Японию после шумного успеха за границей, ведущие японские оркестры отказались с ним играть. Известна также история с первой красавицей Японии актрисой Фудзико Ямамото, которая не захотела продлевать свой контракт с кинокомпанией и тут же была практически отстранена от японского экрана, ибо нарушила долг верности нанимателю.

В деловом мире человек известен просто по фирме, в которой он служит, но не по своим способностям. Без визитной карточки он ничего не представляет как личность, а с визитной карточкой и со значком на лацкане пиджака он разделяет славу своей фирмы, независимо от того, как бы ни был мал его пост. Как бы бездарно он ни работал, его не уволят, какими бы яркими способностями он ни обладал, он почти не имеет возможности продвигаться быстрее, чем другие люди его возрастной группы.

Рафаэл Штейнберг, Почему трудно писать
о Японии. Нью-Йорк, 1966



Совесть и самолюбие — долг чести

Есть две скрытые пружины, которые исподволь движут сложным механизмом поведения японцев. О первой из них уже шла речь — это долг признательности. Но есть и вторая: долг чести.

На протяжении всей японской истории люди рубили чужие головы и вспарывали собственные животы во имя «гири», или долга чести. И хотя самураи с их обычаем совершать харакири сохранились сейчас лишь в кинофильмах, понятие «гири» по-прежнему незримо присутствует в поступках современных японцев.

Если такая первейшая для японцев добродетель, как долг признательности, уходит корнями в древнекитайскую мораль, то долг чести — это сугубо японское понятие, которое не имеет ничего общего ни с учением Конфуция, ни с учением Будды. Раскрыть смысл гири трудно, ибо даже сами японцы не могут дать ему достаточно ясного толкования.

Гири — это некая моральная необходимость, заставляющая человека делать что-то норовом против собственного желания или вопреки собственной выгоде. Довольно близко к этому термину стоит старый французский оборот — «положение обязывает».

Гири можно было бы назвать совестью. Однако бывают обстоятельства, когда гири заставляет японца действовать вопреки великодушию и даже вопреки справедливости. Это «совесть», которая, однако, может толкнуть на бессовестный поступок, это «честь», которая порой заставляет поступать бесчестно.

Гири — это долг чести, основанный не на абстрактных понятиях добра и зла, а на строго предписанном регламенте человеческих взаимоотношений, требующем подобающих поступков в подобающих обстоятельствах.

Вот типичный пример. Считается, что особенно тяжок долг чести для жениха, принятого в чужую семью и взявшего себе фамилию тестя и тещи. В прежние времена приемный сын должен был блюсти долг чести тем, чтобы безоговорочно вставать на сторону своих приемных роди-

телей, даже если бы это требовало убить собственного отца или мать.

В отличие от неоплатного долга признательности японцы смотрят на долг чести как на некое добавочное бремя, неосмотрительного увеличения которого следует остерегаться.

Поскольку любая услуга вплоть до предложенной кем-то на улице сигареты требует взаимности, должна быть как-то вознаграждена, японцы подсознательно стараются избегать случайных одолжений со стороны незнакомцев.

Это отразилось даже в том, что речевые обороты, предназначенные для выражения благодарности, несут в себе, как ни странно, оттенок некоего сожаления. Например, наиболее широко известное иностранцам слово «аригато», которое мы привыкли переводить как «спасибо», буквально значит «вы ставите меня в трудное положение». Другой близкий ему оборот «сумимасен» означает: «ах, это никогда не кончится» или «ах, мне теперь вовек с вами не рассчитаться».

Таким образом, уже выражая благодарность, японец как бы с сожалением признает, что остался перед кем-то в долгу.

Стихийное стремление избегать случайных одолжений со стороны незнакомых людей порой производит впечатление, что японцы — люди черствые и неотзывчивые. Прохожий может даже не замедлить шага на улице, видя, как кому-то рядом стало плохо. Но тот же человек способен проявить чудеса отзывчивости к соседу, у которого сгорел дом, или к жертвам землетрясения на другом конце страны.

Речь, стало быть, идет не о черствости, а о своеобразии норм поведения. Сделать что-то для незнакомца без его просьбы — значит поставить его в положение морального должника, значит воспользоваться его затруднением в свою пользу — вот к какому абсурдному парадоксу приводит японцев их понятие о долге чести.

Гири подчас вынуждает человека уподобляться роботу, который слепо и механически выполняет заложенную в него программу подобающего поведения, который не рассуждает, а поступает так, как принято, чтобы окружающие его не осудили.

«Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели», — распространенность этого изречения вы-

дает обостренную чувствительность японцев к суждениям других людей об их поступках. С детства поведение человека регулируется не только семьей, но и ближайшим окружением. Тому, кто не соблюдает общепризнанных обычаев, кто не считается с мнением общины, соседи или односельчане грозят отчуждением.

Поступай как принято, иначе люди осудят и отвернутся — вот что требует от японца долг чести. Смысл гири, стало быть, лучше выразить не французским оборотом «положение обязывает», а словами «традиция обязывает».

Гири, или долг чести, проявляется, во-первых, по отношению к окружающим (как разновидность нашего понятия «совесть»), а во-вторых, по отношению к самому себе, к собственной репутации (что во многом соответствует тому, что мы называем самолюбием).

Неверно полагать, что одна сторона этой добродетели требует от человека быть благодарным, а другая — мстительным.

Долг чести по отношению к самому себе отнюдь не ограничивается необходимостью мстить за нанесенное оскорбление. Гири побуждает японца избегать положений, в которых как он сам, так и кто-то другой может оказаться униженным или оскорбленным.

Японцы с поразительной изобретательностью стремятся обходить случаи прямого соперничества, где выбор в пользу одной из сторон означал бы «потерю лица» для другой. Именно обоюдная боязнь «потерять лицо» рождает потребность в третьем лице, то есть в посреднике, без которого японцы не мыслят себе никаких переговоров, начиная от сватовства и кончая заключением торговой сделки.

Во время сватовства считается очень важным так обставить первую встречу жениха и невесты, чтобы в случае отказа какой-либо из сторон не унижить другую. Поэтому такие смотрины чаще всего устраиваются как якобы случайная встреча в каком-нибудь общественном месте, например на ежегодной выставке хризантем или во время любования весенним цветением вишен в каком-нибудь парке. Такая встреча, никого ни к чему не обязывая, позволяет молодым и их родителям познакомиться друг с другом.

Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников первый ученик и кто, наоборот, тянет класс

назад. Если педагог хвалит или журит кого-то, он всегда исходит из способностей и прилежания данного ребенка, сравнивая его нынешнюю успеваемость с его же прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников другим.

Японские рикши в прежние времена строго блюли неписанный закон о том, что молодой возчик мог обгонять старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе и выносливости не бросалось людям в глаза.

Это стремление хотя бы внешне свести до минимума прямое соперничество донныне пронизывает японскую жизнь. Даже проявлениям острой конкурентной борьбы японские дельцы ухитряются придавать видимость компромисса на основе «подобающего места» фирмы в данной отрасли промышленности или торговли.

Долг чести по отношению к собственной репутации не позволяет японцу проявлять свою неспособность в том, к чему он по своему положению обязан быть способен. Нежелание «потерять лицо» подчас мешает японскому врачу отказаться от ошибочного диагноза. По той же причине преподаватели не любят, когда ученики обращаются к ним с вопросами.

Бывалый иностранец, остановленный за нарушение правил езды на улицах Токио, прикидывается, что не знает японского языка. И регулировщик отпускает его, так как, в свою очередь, не хочет признать, что не силен в английском, то есть ронять престиж столичного полицейского.

Именно из-за такого представления о «потере лица» японцы считают правилом никогда не говорить человеку чего-либо касающегося его профессиональных ошибок.

Наслышавшись об учтивости японцев, нельзя преуменьшать их чувствительность к обидам. Японцы болезненно реагируют на иронические реплики личного характера, которые никто из нас не принял бы всерьез.

Сказать, что японцы очень самолюбивы, что они высоко ставят свою честь, — значит показать лишь одну сторону их характера. Непримируемость к оскорблениям, болезненная чуткость к любому унижению их личного достоинства не привели к тому, что месть стала у них главенствующей чертой человеческих взаимоотношений. Понятие «гири» обрело как бы возвратное значение. Долг чести по отношению к самому себе с малолетства приучает японцев шадить самолюбие и достоинство других.

Лишь прожив в стране несколько лет, начинаешь понимать, что японская вежливость — это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро; и не обычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость — это умение щадить как собственное самолюбие, так и достоинство окружающих, это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унижить.

Раз мораль требует от человека хранить свою репутацию незапятнанной и мстить за нанесенные оскорбления, он, по логике японцев, должен всячески остерегаться случаев, когда в этом может возникнуть необходимость.

Итак, японская вежливость — это прежде всего проявление высокой культуры человеческих взаимоотношений, взаимное стремление людей при любых контактах не задевать самолюбия друг друга.



Полагаю, что в мире нет народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, чем японцы. Они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного слова. Так что вы обращаетесь (и поистине должны обращаться) со всей учтивостью даже к мусорщику или землекопу. Ибо иначе они тут же бросят работу, ни секунды не задумываясь, какие потери это им сулит, а то и совершат что-нибудь похуже.

Они весьма осмотрительны в своем поведении и никогда не утруждают других жалобами и перечислениями собственных бед. Они с детства выучиваются не раскрывать своих чувств, считая это глупым. Важные и трудные дела, которые могут вызвать гнев, возражение или спор, у них принято решать не с глазу на глаз, а только через третье лицо. Обычай этот настолько в ходу, что применяется между отцами и детьми, между хозяевами и слугами и даже между мужьями и женами.

Алессандро Валиньяно, История деятельности ордена иезуитов в Восточной Азии. Ватикан, 1642



Когда два американца должны решить между собой сложный вопрос, они инстинктивно стараются исключить третьих лиц и поговорить с глазу на глаз. Когда такая проблема возникает между японцами, они столь же инстинктивно стремятся разойтись на почтительное расстояние и призывают посредника.

Попав в неприятную историю на улице Токио, имейте в виду: чем хуже вы знаете японский язык, тем лучше.

Секс в Японии так же легко доступен, как в Соединенных Штатах получение шоферских прав. И наоборот.

Джон Рандольф, Афоризмы о Японии. Токио, 1965



Область ограничений и область послаблений

Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга при знательности и долга чести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия, плотские наслаждения. Именно такую позицию, кстати говоря, занимает в данном вопросе буддизм.

Поэтому вдвойне неожидан факт, что японцы не только терпимо, но даже благожелательно относятся ко всему тому, что христианская мораль называет человеческими слабостями. Хотя Япония — буддийская страна, ее жизненная практика вступает здесь в резкое противоречие с учением Будды.

Воздержанность, строгий вкус, умение довольствоваться малым вовсе не означают, что японцам присущ аскетизм. На них давит тяжкое бремя моральных обязанностей. Их связывают по рукам и ногам путы бесчисленных правил поведения. Но наряду с жесткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распущенности нравов. Японская мораль лишь подчеркивает, что плотским наслаждениям следует отводить подобающее, причем второстепенное, место.

Двойственность японской природы проявляется в контрасте между суровым, бескомпромиссным подавлением личных порывов во имя долга и поразительной терпимостью к человеческим слабостям, на которые японцы смотрят скорее как на человеческие радости.

Драматизм жизни для японцев в том и состоит, что физические удовольствия сами по себе не заслуживают осуждения, не составляют греха, но человек в определенных случаях вынужден сам отказываться от них ради чего-то более важного.

Излюбленный афоризм американцев о том, что люди прежде всего движет стремление к счастью, представляется японцам аморальным. Счастье, на их взгляд, — это лишь приятный момент отдыха, как бы перекур на пашне, но никак не движущая сила и не цель жизни.

«Избегай излюбленных удовольствий, обращай к неприятным обязанностям» — эта строка, завершавшая когда-то сто законов Иеясу *, донныне живет как поговорка. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, — вот что японцы почитают добродетелью.

В противоречивом сочетании требовательности и терпимости опять-таки проявляется идея подходящего места. Жизнь разграничена на круг обязанностей и круг удовольствий, на область главную и область второстепенную, в каждой из которых действуют свои мерки, свои нормы поведения.

При всем том, что японскому образу жизни присуще суровое подавление личных порывов, секс в этой стране никогда не осуждался ни религией, ни моралью. Японцы никогда не смотрели на секс как на некое социальное зло, никогда не отождествляли его с понятием греха, не видели необходимости окружать его завесой тайны, скрывать от посторонних глаз как нечто предосудительное.

Японец как бы ограждает в своей жизни область, которая принадлежит семье и составляет круг его главных обязанностей, от развлечений на стороне — области тоже легальной, но второстепенной.

Жена японского служащего привыкла к тому, что, как правило, видит мужа лишь два-три вечера в неделю. Хотя в Токио насчитывается восемьдесят тысяч баров и обойти их все (по вечеру на каждый) можно лишь за 219 лет, порой начинает казаться, что многие дельцы одержимы именно этой идеей.

Жены безропотно терпят подобные отлучки. Существует выражение: «Вернуться домой на тройке», весьма своеобразно введшее русское слово в японский обиход. Приведенная фраза означает, что пьяный глава семейства вваливается в дверь среди ночи, поддерживаемый под руки двумя девицами из бара. Жена обязана в таком слу-

* Иеясу Токугава (1542—1616) — основатель третьей династии военных правителей Японии — сёгунов, которая находилась у власти с 1600 до 1867 года.

чае пригласить спутниц в дом, угостить их чаем, осведомиться, рассчитался ли муж по всем счетам, и с благодарностью проводить их.

Не забавы мужа на стороне, а проявление ревности жены — вот что в глазах японцев выглядит аморальным. (Терпимость к такого рода похищением касается, впрочем, лишь женатых мужчин, но отнюдь не распространяется на замужних женщин.)

При этом необходимо подчеркнуть, что восточные традиции многоженства не имели широкого распространения в Японии. Даже система наложниц, процветавшая в феодальном Китае, не оказалась в числе других привившихся отсюда заимствований. (Хотя по законам Иеясу наложница допускалась как особая привилегия высшего сословия, вовсе запрещенная для простолюдинов, — мораль в целом смотрела на это отрицательно.)

С точки зрения японца ввести любовницу в семью — значило бы нарушить границы двух областей жизни, которые всегда должны быть изолированы друг от друга; нанести ущерб главному ради второстепенного; короче говоря, нарушить заповедь «всему свое место».

Итак, японская мораль весьма снисходительна к человеческим слабостям. Считая их чем-то естественным, она отводит им хотя и второстепенное, но вполне узаконенное место в жизни. Это никак не вяжется с укоренившимся на Западе взглядом относительно духа и плоти как враждующих в человеке сил, первая из которых олицетворяет добро, а вторая — зло.

Двойственность человеческой природы японцы толкуют по-иному. Они считают, что у всякой души есть как бы две стороны: мягкая и жесткая, подобно тому как одна и та же рука может разить врага и ласкать ребенка. Нельзя ценить лишь душевную мягкость, порицая жесткость, или наоборот. К жизни надо всякий раз обращаться именно той стороной души, какой надлежит.

Поскольку японцы не видят в людской природе противоборства духа и плоти, им также не присуще смотреть на жизнь лишь как на столкновение добра и зла.

Западная цивилизация с детских сказок приучает людей к тому, что в конце концов всякое добро вознаграждается. Именно из-за отсутствия подобных концовок многие произведения японской литературы кажутся иностранцам незавершенными. Японцев же куда больше, чем формула «порок наказан, добродетель вознаграждена»,

волнует в искусстве тема человека, который жертвует чем-то дорогим ради чего-то более важного. Поэтому излюбленный сюжет у них — столкновение долга признательности с долгом чести или верности государству с верностью семье. Счастливые концовки в таких случаях во все не обязательны, а трагические воспринимаются как светлые, ибо утверждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой.

Когда после капитуляции американцы конфисковали японские фильмы военных лет, представители оккупационных властей с удивлением отмечали, что им никогда не доводилось видеть более явной антивоенной пропаганды. Эти картины редко заканчивались чествованием победителей. Упор в них делался не на парадную сторону войны, а на ее тяготы: изнурительность маршей, окопную грязь, слепой случай, от которого зависит солдатская жизнь в бою. Они куда чаще показывали семьи, только что получившие с фронта весть о гибели кормильца, чем выздоровление раненых воинов.

Это было полной противоположностью батальным лентам Голливуда. Но именно фильмы, превозносившие меру солдатского самопожертвования, лучше всего служили тогда интересам милитаристской клики. Создатели их хорошо знали это.

Нечто подобное ощущаешь сейчас у телевизионного экрана. Порой кажется, что многосерийные бытовые драмы задуманы как протест против закостенелого семейного уклада, как призыв жить, повинувшись голосу сердца. Японцы же отнюдь не обязательно воспринимают эти фильмы именно так.

Вот типичный сюжет. Родители требуют, чтобы сын разошелся с невесткой, которая пригласила им не по нраву. И сын вынужден сделать это, хотя любит свою жену. Сила его характера проявляется, на взгляд японцев, не в том, чтобы воспротивиться родительской воле, а в том, чтобы смириться с нею.

Итак, есть время, когда человек руководствуется обязанностями, когда над ним довлеют ограничения; и есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно свернуть в область послаблений. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один: человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит.

Деление жизни на область ограничений и область по-

слаблений, где действуют разные законы, объясняет причину японцам склонность к «зигзагу». Народ этот на редкость непритязателен ко всему, что касается повседневных, будничных нужд, но может быть безудержно расточительным, когда речь идет о каких-то праздниках или торжественных случаях.

Обычай осуждать сверхмерное потребление донны сохранился у японцев. Но требование умеренности касается лишь будней. Быть скаредным, прижимистым, даже разумно расчетливым в таких случаях, как, например, свадьба или похороны, так же аморально, как быть невоздержанным в повседневном быту.



Японцы употребляют крепкие напитки; многие из них, а особенно простой народ, даже любят их и часто, по праздникам, напиваются допьяна; но со всем тем склонность к сему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами; быть пьяным днем почитается у них величайшим бесчестьем даже между простолюдинами; и потому пристрастные к вину напиваются вечером, после всех работ и занятий, и притом пьют понемногу, разговаривая между собой дружески, а не так, как у нас простой народ делает: «тяпнул вдруг, да и с ног долой».

Из пороков сластолюбие, кажется, сильнее всех владевает над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содержать любовниц, и сим правом все люди с достатком не упускают пользоваться, часто даже чрез меру.

«Записки капитана В. М. Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».



Японцы быстро напиваются, но зато так же быстро трезвеют. Похоже, что они упражняют силу воли умением то целиком распускать, то вновь натягивать вожжи. В компании японцев иностранец чувствует себя на первых порах слишком трезвым: ему кажется, что собутельники вот-вот свалятся под стол. Зато потом он не может сразу взять себя в руки, как остальные.

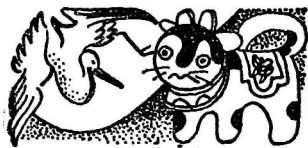
Д. Инрайт, Мир росы. Лондон, 1954



Японцы — загадка нашего века, это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами ка-

жуются нацией позеров; весь их мир — как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастичный народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможны обобщения, ибо они столь различны и противоречивы, столь непохожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Это натуры самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, тупые, примитивные; самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные; самые сдержанные, молчаливые, чопорные и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. В те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайного обряда, проявляли ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом харакири.

Элиза Скидмор, Дни рикши в Японии. Лондон, 1891



Корни двойственности

Нам кажется естественным, что самое сильное дисциплинирующее воздействие на человека оказывают в детские и юные годы, а затем ему предоставляется все больше личной инициативы. Японец же именно в среднем возрасте меньше всего хозяин сам себе. Но, как ни странно, к этому его приучают подчеркнутой, даже чрезмерной свободой в ранние годы жизни.

Многих иностранцев поражает, что японские дети вроде бы никогда не плачут. Кое-кто даже относит это за счет знаменитой японской вежливости, проявляющейся чуть ли не с младенчества.

Причина тут, разумеется, иная. Малыш плачет, когда ему хочется пить или есть, когда он испытывает какие-то неудобства или оставлен без присмотра и, наконец, когда его к чему-то принуждают. Японская система воспитания стремится избежать всего этого.

Первые два года младенец как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, по ночам кладет его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он этого пожелает.

Даже когда малыш начинает ходить, его почти не спускают с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережения: «опасно», «грязно», «плохо». И эти три слова входят в его сознание как нечто однозначное.

Короче говоря, детей в Японии, с нашей точки зрения, невероятно балуют. Можно сказать, им просто стараются не давать повода плакать. Им, особенно мальчикам, почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Прямо-таки с молоком матери впитывает он уверенность, что его самолюбия не заденут даже родители.

Японцы умудряются совершенно не реагировать на плохое поведение детей, словно бы не замечая его. Пятилетний карапуз, которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию, причем ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не скажут ему ни единого слова.

В разгар международного конкурса исполнительниц партии Чио-Чио-Сан несколько таких малышек затеяли возню в проходе перед самой сценой, а потом, надувая щеки, принялись подражать певицам, — в переполненном зале никто даже глазом не повел.

Воспитание японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой отчуждения. «Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от тебя» — вот типичный пример родительских поучений.

Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в душу японца. Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского дома таков, что человек все время живет на глазах других, — угроза отчуждения действует серьезно.

Школьные годы — это период, когда детская натура познает первые ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность: его приучают остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может «потерять лицо».

Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде выражал свободно, — не потому, что видит теперь в них некое зло, а потому, что они становятся неподобающими.

Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве, оставляет неизгладимый след на его жизненной философии. Именно воспоминания о беззаботных днях, когда было неведомо чувство стыда, и порождают взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений; порождают необъяснимую на первый взгляд противоречивость японского характера.

Вот почему японцы столь снисходительны к человеческим слабостям, будучи чрезвычайно требовательными к себе при выполнении многочисленных моральных обязательств. Всякий раз, когда они сворачивают с главной жизненной колесницы в «область послаблений», свободную от жестких предписаний и норм, они как бы возвращаются к дням своего детства.

Античная цивилизация Запада совершенствовала человека, подавляя в нем животные инстинкты и возвышая духовное начало.

Что же касается японцев, то они и в своей этике всегда следовали тому же принципу, что и в эстетике: сохранять первородную сущность материала. Японская мораль не ставит целью переделать человека заново, а стремится лишь обуздать его сеть правил подобающего поведения.

Инстинктивные склонности и порывы остаются в неизменности, лишь связанные до поры до времени этой сетью. Отсюда противоречивость и даже взрывчатость японской натуры.



С тех пор как Япония открыла свои двери перед внешним миром, вряд ли был еще какой-нибудь народ, при описании характера которого столько раз повторялись бы слова: «Но так же...»

Когда серьезный наблюдатель пишет о людях какого-либо народа и говорит, что они несравненно учтивы, вряд ли он станет добавлять: «Но так же дерзки и навязчивы». Когда он говорит, что эти люди чрезвычайно неподатливы, он не присовокупит: «Но так же восприимчивы ко всему новому». Когда он говорит, что люди эти послушны, он не станет тут же объяснять, почему их нельзя

подталкивать. Когда он говорит, что эти люди преданны и великодушны, он не предостережет: «Но так же коварны и подозрительны». Когда он говорит, что эти люди поистине храбры, он не станет расписывать их робость. Когда он ведет речь о людях, которые охотно отдаются изучению всего, что приходит с Запада, он не станет также подчеркивать их непоколебимый консерватизм. Когда он пишет книгу о народе, который поклоняется красоте, славит актеров, художников и возводит в ранг искусства выращивание хризантем, такая книга обычно не требует приложения, посвященного культу меча и непрерываемому престижу, который принадлежит воинам.

Все эти противоречия составляют, однако, начало и конец книг о Японии, все они действительно существуют. Как меч, так и хризантема являются частью картины. Японцы в одно и то же время напористы и сдержанны; воинственны и эстетичны; дерзки и вежливы; неподатливы и восприимчивы; послушны и непокорны; преданны и коварны; отважны и робки; консервативны и жадны до нового.

Рут Бенедикт, Хризантема и меч. Нью-Йорк, 1946



Культ поклонов и извинений

Если сравнивать разные народы или разные эпохи по их приверженности к этикету, то меркой здесь может служить энергия, которую люди затрачивают на взаимные приветствия. На Западе, например, после средних веков показатель этот неуклонно уменьшается. Были времена, когда людям приходилось совершать при встрече чуть ли не целый ритуальный танец. Потом от церемоннейшего поклона с расшаркиванием остался лишь обычай обнажать голову, который, в свою очередь, свелся до условного прикосновения рукой к шляпе и, наконец, просто до кивка.

Не удивительно, что на подобном фоне учтивость современных японцев выглядит как экзотика. Легкий кивок, который остался в нашем быту единственным напоминанием о давно отживших поклонах, в Японии распространен так, словно он заменяет собой знаки препинания. Собеседники то и дело кивают друг другу, даже когда разговаривают по телефону, хотя видеозэкран еще только начинает входить в быт.

Уже говорилось, что, встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись пополам, даже посреди улицы.

Но еще больше поражает приезжего поклон, которым его встречает хозяйка японского дома или гостиницы. Женщина опускается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед гостем.

У порога гостя встречает лишь хозяйка, а обмен приветствиями с хозяином совершается уже в комнате, после того как посетитель снял обувь и уселся на татами в необходимой для поклонов позе. Хозяин помещается напротив и ведет беседу, хозяйка молчаливо выполняет роль служанки, а все остальные члены семьи в знак почтения вообще не показываются на глаза.

Правила поведения в японском жилище слишком сложны, чтобы их можно было освоить сразу. Главное поначалу — ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться где укажут. Существуют предписанные позы для сидения на татами. Самая церемонная из них — опустившись на колени, усестись на собственные пятки. В таком же положении совершаются поклоны. Надо лишь иметь в виду, что кланяться, сидя на подушке, которую обычно предлагают гостю, неучтиво — сначала надо переместиться на пол. Бывает, что в комнате беседуют десять человек. Но стоит появиться одиннадцатому, как все они, словно крабы с камней, тут же сползают с подушек.

Сидеть скрестив ноги считается у японцев развязной позой, а уж вытягивать их в сторону собеседника — верх неприличия. Поэтому провести в японской комнате несколько часов для иностранца с непривычки сущее мучение. У него тут же затекают ноги, начинает ломить поясницу, появляется желание привалиться к стене или лечь.

Многokrатно пытался я поселиться на несколько дней в японской семье, чтобы непосредственно вникнуть в ее быт. Но этикет всякий раз отгораживал меня от семейных будней словно ширмой. Меня держали в почетном одиночестве, будто гостиничного постояльца. Хозяйка приносила на подносе завтрак, обед и ужин. Хозяин заходил по вечерам обменяться парой вежливых фраз и выпить сакэ. Но посадить меня за общий стол с детьми и домочадцами, сделать меня участником общих разговоров им представлялось совершенно недопустимыми нарушениями правил гостеприимства.

При всем обновлении форм жизни домашний очаг

по-прежнему остается у японцев крепостью старого этикета. Не говоря уже о семейных торжествах, даже в будни рассадка за столом следует незыблемому порядку. Каждого, кто уходит из дому или возвращается, принято хором приветствовать возгласами: «Счастливого пути!» или «Добро пожаловать!» Мне часто доводилось видеть, как японцы встречают в Токийском аэропорту родственников, возвращающихся из далеких зарубежных поездок. Когда муж сходит с самолета, жена приветствует его глубоким поклоном. Никакие объятия или поцелуи на людях немыслимы. Муж отвечает жене кивком, гладит по голове сына или дочь и почтительнейше склоняется перед родителями, если те сообразовали его встречать.

Мы привыкли подчас больше следить за своим поведением среди посторонних, чем в кругу семьи. Человек, который дома преспокойно возьмет в руки кусок жареной курицы, часто постесняется сделать это в гостях или в ресторане. Японец же за домашним столом ведет себя гораздо более церемонно, чем где-либо.

Он преспокойно раздеется до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, но, если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет поспешно переодеваться, чтобы принять его в подобающем виде. Неважно, если делать это приходится в той же самой комнате: считается, что до официального обмена приветствиями ни хозяин, ни гость не видят друг друга.

Иностранца, пожалуй, в равной степени поражает как церемонность японцев в домашней обстановке, так и их бесцеремонность в общественных местах. Уже говорилось, что человек, который безукоризненно ведет себя с родственниками и друзьями, перевоплощается в собственную противоположность среди людей незнакомых.

Вслед за вежливостью рано или поздно раскрывает приезжему свою изнанку и японская чистоплотность. Слов нет, японцы поистине боготворят чистоту. Но всегда ли это качество проявляется в одинаковой мере?

Можно сказать, что японцы чистоплотны в том смысле, в каком это касается чистоты их плоти, подобно тому как их учтивость проявляется лишь в личных отношениях и не распространяется на область общественного поведения.

На иностранца, который разгуливает в шлепанцах по своей комнате в японской гостинице, смотрят с изумлением и ужасом, как мы глядели бы на человека, шагаю-

щего в галошах по постели. Однако японец просто не представляет себе, чтобы какое-то помещение, где не нужно разуваться, могло быть чистым. В кинотеатре, в вагоне, в конторе люди преспокойно швыряют на пол окурки, пустые бутылки, банановую кожуру, обертки от конфет и прочий мусор. Насколько опрятность присуща японскому жилищу, настолько неряшливой выглядит японская контора.

Важно понять, что изнанка японской учтивости и японской чистоплотности порождена все той же двойственностью взглядов на жизнь.

Японская вежливость — это отнюдь не верность определенным нравственным принципам уважения к окружающим. Это нормы подобающего поведения, выдрессированные в народе острием меча.

Если на Западе вежливость в значительной степени выросла на религиозной почве, отталкиваясь от понятия греха, то в Японии она сложилась на основе феодального этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Черты этой древней дисциплины доныне видны в поведении японцев. Грациозность, с которой они садятся на циновки или встают, принимают или передают что-нибудь, — все это доведенные до рефлекса предписанные жесты учтивости.

Отношения по вертикали — между повелителем и подданным, между отцом и сыном, между старшим и младшим — были четко определены, и мельчайшие детали их общезвестны. Однако японская мораль почти не касалась того, как должен вести себя человек по отношению к людям незнакомым, что на Западе считается одной из основ подобающего поведения.

Японская вежливость — это, если можно так выразиться, вежливость не по горизонтали (человек — общество), а по вертикали. Она как бы предписание устава, который обязывает солдата отдавать честь офицеру, но вовсе не каждому встречному.



В обхождении японцы всякого состояния чрезвычайно учтивы: вежливость, с какою они обращаются между собою, показывает истинное просвещение сего народа. Мы жили с японцами, которые были не из лучшего состояния, но никогда не видали, чтоб

они бранились или ссорились между собой. Горячо спорить почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость; мнения свои они всегда предлагают учтивым образом со многими извинениями и с знаками недоверчивости к своим собственным суждениям, а возражений никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и по большей части примерами и сравнениями.

«Записки капитана В. М. Головнина в плену
у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах»



Наш этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер, и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства.

Какудзо Окакура, Книга о чае. Токио, 1906



Японцы по праву слывут чистоплотным народом, о чем свидетельствует их привычка ежедневно мыться в бане, содержать полы в безукоризненной чистоте. Но чистоплотность эта резко обрывается за порогом их жилищ, за пределами непосредственно окружающей их среды.

Итиро Кавасаки, Япония без маски. Токио, 1969



Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет вести себя в соответствии с их правилами. Однако, даже предоставленный самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым дома, в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасно одетую женщину, распростершуюся у его ног! Поскольку ее коленопреклоненная поза не позволяет ей смотреть наверх, улыбка гостя остается незамеченной. Ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку никто не пожимает. Как же должен иностранец, спрашивает он себя, поступать в такой ситуации! Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения! А если да, то как! Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею! Должен ли он отвергнуть это архаическое приветствие, встать на колени и нежно поднять женщину с пола! А если да, то что сделать потом: наделить ли ее своими приветствиями, улыбкой и рукопожатием! Во всяком случае, ясно, что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть была очевидной. Причем отчаянность положения усугубляется неразрешимой загадкой: кто эта женщина — служанка или хозяйка дома!

Бернард Рудофски, Мир кимоно. Лондон, 1966



Почему молчание красноречивее слов

Помните детскую игру: «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте... Прежде чем ехать в Японию, весьма полезно потренироваться в ней.

Казалось бы, знакомство с любым языком начинается со слов «да» и «нет», как самых простых и ходовых.

Оказывается, однако, освоить слова «да» и «нет» в японском языке отнюдь не такое легкое дело. Слово «да» каверзно тем, что вовсе не всегда означает «да». А слова «нет» надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить стороной, как в упомянутой выше игре.

Узнать и запомнить первое из этих двух ключевых слов легче всего. Достаточно хоть раз оказаться рядом с японцем, который разговаривает по телефону: непрерывно кивая головой невидимому собеседнику на другом конце провода, он без конца твердит: «хай», «хай», «хай».

Если вы спросите, что значит это слово, всякий ответит: «хай» по-японски «да». Однако со временем вы убедитесь, что считать всякое «хай», сказанное японцем, за утверждение, то есть за слово «да», значит проявлять непростительный оптимизм.

К примеру, вы остановились в японской гостинице. И наутро вместо традиционного японского завтрака — сушеных водорослей, риса и супа из перебродившей бобовой пасты с мелкими раковинами — вы попросили сварить вам пару яиц.

На все это вам ответили «хай» и утром действительно принесли яйца, хлеб и термос с кипятком. А поскольку баночка с растворимым кофе лежит у вас в чемодане, вы предвкушаете завтрак по-домашнему.

Но тут оказывается, что яйца нечем посолить. Вы просите по телефону принести вам соли, на что снизу бодро отвечают «хай».

Проходит пять, десять, двадцать минут, полчаса... Вы давно позавтракали, спускаетесь вниз, чтобы расплатиться. И только тут выясняется, что соль не появилась, ибо ее вовсе не было, да и не могло быть в японской

гостинице (вместо того чтобы солить кушанья, японцы добавляют к ним по вкусу соевый соус).

Никто не хотел «терять лицо», объясняя иностранцу такие сложности. А когда вам говорили «хай», имелось в виду совсем другое.

Слово это гораздо чаще, чем «да», означает: «слышу, понял». Пожалуй, ближе всего соответствует ему флотское «есть», происшедшее от английского слова «йес». Японец, который на каждую фразу откликается словом «хай», отнюдь не всегда выражает согласие с вашими словами, а просто говорит: «Так, так, продолжайте, я вас слышу».

Еще больше сложностей таит в себе слово «нет». Начать с бесчисленных казусов, которые происходят на чисто грамматической почве, потому что двойное отрицание, весьма обиходное в русском языке, совершенно невозможно в японском.

Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика:

— Мне никто не звонил?

— Да, — отвечает он.

— Кто же?

— Никто.

В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», словно это какие-то ругательства; нечто такое, что никак нельзя высказать прямо, а только иносказательно, обиняком. Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет выражение, дословно означающее: «мне уже и так прекрасно».

Другой житейский случай — ответить на приглашение: «Нет, к сожалению, не смогу». Чтобы избежать этих запретных слов, японцы рассылают открытки, в которых вас просят обвести чертой одно из слов: «присутствую» или «отсутствую», и вновь бросить такую открытку с оплаченным обратным адресом в почтовый ящик.

Если токийский знакомый говорит: «Прежде чем ответить на ваше предложение, я должен посоветоваться с женой», — не нужно думать, что перед вами оказался поборник женского равноправия. Это лишь один из множества способов не произносить слова «нет». К примеру, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начнет переспрашивать: «Ах, в шесть? Ах, в пресс-

клубе?», и произносить какие-то ничего не значащие звуки, следует тут же сказать: «Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте».

И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первое же предложение, которое ему подходит.

Свой обычай во что бы то ни стало избегать слова «нет» японцы распространяют и на область деловых отношений. Это доводит до белого каления американцев с их представлением о деловитости как о безукоризненной четкости, прямоте, пунктуальности.

Представим себе, что американский торговец обувью прибывает в Японию, желая заказать партию сандалет. Он выясняет, кто именно является ведущим производителем данного товара, и вступает с ним в контакт.

Перво-наперво он излагает свои рекомендации о том, как приспособить эти сандалеты к запросам американского потребителя. Ну, скажем, увеличить максимальный мужской размер с 38-го до 44-го или, к примеру, сделать так, чтобы ремешки не продевались между пальцами, как у японцев, а крепилась каким-нибудь другим способом.

Производитель сандалет имеет вполне достаточный внутренний рынок для этого сугубо японского вида обуви, и ему нет никакого расчета менять технологию производства ради экспортного заказа. Но напрямик ответить на предложение словом «нет» у японца не поворачивается язык. Он считает неперменным долгом проявить видимость интереса к заявке из-за океана и от имени своей фирмы приглашает американца поразвлечься.

Сначала гостя потчуют обедом в самом дорогом ресторане, потом обходят с ним два-три кабаре и завершают кутеж в японской гостинице с большим количеством псевдогейш.

Щедрость представительских затрат убеждает американского импортера, что японская фирма весьма заинтересована в сделке с ним, и он на другой же день приступает к деловым переговорам.

Обувщик с самого начала уверен, что братья за заказ не будет, но предпочитает, чтобы американец догадался об этом сам. Японец внимательно прислушивается ко всем пожеланиям и разъяснениям, даже приказывает подчиненным делать необходимые заметки, но как

только американец уходит из конторы, он разом забывает о нем, списывает расходы за предыдущий вечер как неоправданные издержки производства и начинает заниматься текущими делами.

Когда иностранный заказчик назавтра напоминает о себе, его просят подождать пару дней, и тут же снова о нем забывают. Если импортер звонит опять, ему сочиняют невероятную историю, что на фирме произошла забастовка, пожар, наводнение или еще какое-нибудь другое стихийное бедствие.

Если американец даже после этого не понимает, что к чему, и не отвязывается, его успокаивают, что фабричные образцы товара только что отправлены ему с курьером. Бесплодно прождав их до вечера, он узнает, что посланный попал в автомобильную катастрофу, образцы сгорели вместе с машиной и придется подождать еще неделю, пока изготовят новые.

Покупатель партии сандалет, который все это время ежедневно оплачивает гостиничный счет долларов на пятьдесят, помогая тем самым японской экономике создавать валютные запасы, в конце концов теряет терпение и улетает в Гонконг, чтобы совершить свою сделку там.

А ведущий японский производитель сандалет блистательно завершает, таким образом, сложные переговоры, уклонившись от заказа без произнесения слова «нет».

Вежливость японцев подобна смирительной рубашке, стесняющей словесное общение между людьми.

Если не считать хайку — пожалуй, самой сжатой и емкой поэтической формы в мире, — японцы отнюдь не кратки в выражении своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом, они обрушивают на собеседника целые каскады ничего не значащих фраз. Каждое предложение нарезается на тоненькие ломтики и сдабривается огромным количеством приправы из вводных вежливых оборотов.

Умение ясно, четко, а тем более прямолинейно выражать свои мысли мало совместимо с японским представлением об учтивости. Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, в которых заложены неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклонять-

ся от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие.

Сами японцы подметили, что иностранцы, овладевшие их языком, способны выразить на нем свои мысли куда более стройно и точно, так как над ними не тяготеем обычай изъясняться только обиняками.

Нечто подобное ощущают и японцы, в совершенстве изучившие зарубежные языки. Один из выпускников Университета дружбы народов в Москве признавался мне после возвращения в Токио, что многие вещи ему легче высказать по-русски, чем по-японски.

Японский этикет считает невежливым перелагать бремя собственных забот на собеседника или высказывать избыток радости, тогда как другой человек может быть в данный момент чем-нибудь расстроен. Быть учтивым — значит не только скрывать свое душевное состояние, но порой даже выражать прямо противоположные чувства.

Если фразу «у меня серьезно заболела жена» японец произносит с улыбкой, дело тут не в каких-то загадках восточной души. Он просто хочет подчеркнуть, что его личные горести не должны беспокоить окружающих. Обуздывать, подавлять свои эмоции ради учтивости японцы считают логичным. Но именно эта черта чаще всего навлекает на них обвинение в коварстве.

В Токио мне часто приходилось слышать, как то иностранные, то японские коммерсанты сетовали на недостаток искренности друг у друга, однако каждый по-своему. Если обычно под этим словом понимается честность и прямота, отсутствие притворства или обмана, то для японца быть искренним — значит всей душой стремиться к тому, чтобы никто из партнеров не «потерял лица». Это, стало быть, не столько правдивость, сколько осмотрительность и тактичность.

Японцы сами признают, что им трудно общаться друг с другом из-за правил поведения и жестких норм «подобающего места». Не случайно в деловом и политическом мире Японии принято решать наиболее сложные вопросы не на заседаниях, а за выпивкой, когда опьянение позволяет людям на время сбрасывать с себя эти путы.

Возможно, такой добровольный отказ японцев от откровенной беседы привел к тому, что у них, словно осязание у слепцов, развита интуиция.

На Западе много писали о загадочной улыбке япон-

цев, об их искусстве скрывать свои мысли. Надо, однако, отметить и другое. Часто поражаешься, как, обменявшись с иностранцем лишь несколькими неуклюжими фразами, японец чутко улавливает настроение собеседника, его невысказанные мысли. В условиях, когда язык как средство общения оказался скован этикетом, японцы преуспели в умении понимать друг друга без слов.



Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят — нет, этого не допускают их традиции, — и когда надо сказать — нет, они не понимают и не слышат меня.

Борис Пильняк, Корни японского солнца.
Ленинград, 1927.



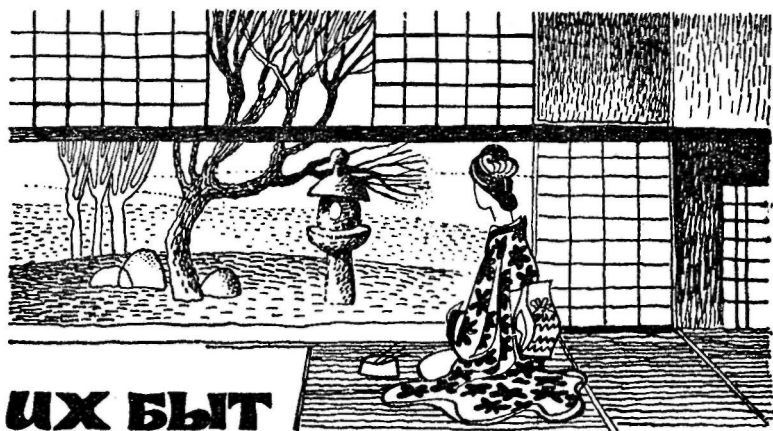
На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут. Японцы же почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам правду.

Боб Данхэм, Искусство быть японцем. Токио, 1964



Японцы довели свой язык до уровня абстрактного искусства. Им не нравятся поэтому неуклюжие иностранцы, которые добиваются от них разъяснений и уточнений, хотя докопаться до сути дела, пока не вскроют его до конца. Японец же считает, что не беда, если мысли не высказаны или если слова не переведены. Нюансы этикета для него куда важнее тонкостей синтаксиса или грамматики. Вежливость речи ценится выше ее доходчивости. И не удивительно, что высшим средством общения становится, таким образом, молчание.

Бернард Рудофски, Мир кимоно. Лондон, 1966



В тени под навесом

Японский дом — настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял: то ли обитель этого жилища выразил через него свою жизненную философию; то ли, наоборот, японский дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет.

— Строя себе жилище, — говорят японцы, — мы прежде всего раскрываем зонт в виде кровли, чтобы на землю упала тень, а потом поселяемся в этой тени...

Действительно, японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. В жаркий день может показаться, что человек в такой комнате просто уселся посреди своего сада на небольшом затененном возвышении.

Японский дом — это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор; это кровля, возведенная над пустотой. Здесь нет ни окон, ни дверей в нашем понимании; ибо в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять.

Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются сёдзи, Те раз-

движные створки, что делают собой внутренние помещения и одновременно служат дверьми, оклеиваются плотной раскрашенной бумагой и именуется фусума.

Мало, однако, сказать, что стены японского дома способны раскрываться, превращая его в подобие беседки. Это действительно навес над пустотой, потому что такие раздвижные створки ограждают одно лишь пустое пространство.

Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражает полному отсутствию какой бы то ни было мебели. Здесь нет ни диванов, ни кресел, ни стульев, ни столов, ни буфетов с посудой, ни шкафов с одеждой, ни книжных полок, нет даже кроватей.

Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые переплеты сёдзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Под разутой ногой слегка пружинят татами — жесткие, пальца в три толщиной маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток с каким-нибудь изображением (какэмоно), а под ним поставлена ваза с цветами.

Поначалу рождается вопрос: что это? То ли декорации для самурайского фильма, воссоздающие атмосферу средневековья, то ли сверхсовременный интерьер?

Начиная от презрительных отзывов миссионеров в XVI веке и кончая восторгами многих архитекторов Запада в наши дни, японский дом всегда вызывал самые противоположные толки. Одни считали его самым целесообразным, другие — наиболее далеким от здравого смысла видом человеческого жилья.

Бесспорно одно: традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь недавно получили признание наших строителей, в то время как съемные перегородки и заменяемые полы пока еще удел будущего.

За четыре столетия до того, как Корбюзье впервые заговорил о минимуме пространства, необходимого для жизни человека, такая мера уже прочно вошла в обиход строителей японских жилищ. Татами есть не что иное,

как наименьшая площадь, на которой взрослый человек может сидеть, работать, отдыхать, спать. А поскольку маты эти имеют раз и навсегда установленный размер — немногим более полутора квадратных метров, — комнаты в японских домах также бывают лишь определенной площади: три, четыре с половиной, шесть или восемь татами.

Стало быть, и весь каркас здания: стропила, опорные столбы, балки — должен приравливаться к этим установившимся традиционным габаритам. Задолго до того, как мы начали думать о стандартизации, префабрикации строительных деталей, она уже существовала у японцев в быту.

Разумеется, как конструктивные особенности японского дома, так и традиционная стандартизация его составных частей порождены постоянной угрозой землетрясений. Хотя деревянный каркас ходит ходуном при подземных толчках, он, как правило, оказывается даже более стойким, чем кирпичные стены. А уж если крыша все-таки обрушилась, дом можно без особого труда и затрат собрать заново. Всегда поражаешься быстроте, с которой японцы восстанавливают свои жилища, разрушенные стихийным бедствием.

А вот квартал современных многоэтажных жилых домов, которыми так гордился муниципалитет города Ниигата, надолго остался памятником землетрясения 1964 года. Многоэтажные корпуса не обрушились, нет — их железобетонный каркас оказался достаточно прочным. Как деревья, с корнем вырванные бурей, они завалились набок вместе с фундаментами. Я видел людей, которые ходили по стенам этих домов и словно из трюмов вынимали из окон свою домашнюю утварь.

На особенностях японского дома заметно сказалась натура его обитателей. Раздвижные стены отражают стремление слиться с природой, вместо того чтобы отгораживаться от нее. Первородная красота некрашеного дерева, рисовой бумаги, соломенных матов, а также сама сезонность этих материалов (сёдзи полагается заново оклеивать каждый год, а татами менять раз в два года) также напоминают о близости к природе.

Не только домашний быт, но и прикладное искусство японцев связано с татами. Все внутреннее убранство японского жилища складывалось так, чтобы соответство-

вать цвету и текстуре этих соломенных матов. Именно жизнь на татами привела к миниатюризации изобразительного искусства, так как японец привык любоваться картиной или вазой, сидя на полу.

Европейская мебель со своими башенными формами нарушила этот привычный эстетический горизонт. Взять хотя бы стул. Случайно ли, что японцы в свое время не включили его в число своих заимствований из Китая? Лишь тысячу лет спустя они приняли его вместе с волной европейской цивилизации, да и то не как домашнюю мебель, а как оборудование для школьных классов и контор. Даже правители Японии издревле предпочитали обходиться без тронов, восседая на подушках, положенных на те же татами.

Что же касается кроватей, то их первыми покупателями в Японии были владельцы борделей. До сих пор кровать чаще всего служит японцу лишь во время его свадебного путешествия, когда он останавливается в туристских отелях, а в дальнейшем — во время его любовных походов вне семейного очага, потому что дешевые гостиницы, сдающие комнаты на два часа с платой вперед, также обставлены в Японии кроватями.

Обзавестись кроватью — значит использовать целую комнату лишь под спальню, что абсолютно неприемлемо для большинства японских семей. Но даже богатые люди, которым по карману выстроить себе особняк, все-таки оборудуют спальни в виде традиционных комнат с татами и спят так же, как и их деды.

Татами — это как бы основа японского образа жизни. Едва коснувшись этой золотистой циновки, едва вдохнув ее своеобразный запах, люди инстинктивно перевоплощаются. Позы, жесты, слова — все это само собой наполняется духом традиционной Японии.



Я смотрю направо и налево. И я вижу удивительнейшее, до сих пор не знаемое мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли; грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стена-

ми, когда японский домик строится в два дня и в японском домике нет ни одной лишней вещи, вообще нет вещей в европейском понятии «вещь»: ни стула, ни шкафа, ни кровати — одно хибати. Будда, пара какэмоно: весь свой скарб японец может снести на плечах.

Борис Пильняк, Корни японского солнца.
Ленинград, 1927



Их любовь к переменам проявляет себя в изменчивости домов, где стены подвижны и комнаты способны менять назначение. Никакие украшения не являются постоянными, будь то картина или цветы в нише. Перемены — да. Но суть всегда остается неизменной. Вот, пожалуй, ключ к японскому характеру.

Перл Бак, Народ Японии. Нью-Йорк, 1964



Позади сёдзи, которые даже сегодня неохотно раздвигаются, чтобы допустить туда иностранца, лежит одна из святынь подлинно японской жизни. Там мы оказываемся в самобытнейшем окружении, которое состоит не только из струганого дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но и включает вдобавок некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей.

Робер Гиллен, Япония. Париж, 1961

Японцы считают, что особенности их домашнего быта унаследованы от далеких предков — обитателей стран южных морей. Они подчеркивают, что японский дом сохранил до наших дней стремление древнего островитянина жить на полу — вернее, на раскрытом помосте, защищенном лишь сверху.

Замечено, что если китайский крестьянин в знойный день прежде всего снимет рубаху, обнажится до пояса, но никогда не станет разуваться, то японец в этом случае поступит наоборот. Вместо сухой жары континента на островах донимает влажная духота, поэтому человек здесь предпочитает, чтобы ему прежде всего обдувало ноги.

Японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода

здесь дают о себе знать целых пять месяцев в году — от ноября до марта.

Казалось бы, что Японские острова, которые лежат на широтах Средиземноморья да к тому же омываются теплым течением, должны иметь даже более мягкий климат, чем южная Испания или Марокко. Причина относительно суровой зимы — господствующие здесь ветры с Азиатского материка, которые приносят холодный воздух Сибири. Эти метели засыпают побережье, обращенное к Японскому морю, глубокими снегами.

Горные хребты защищают противоположное, тихоокеанское побережье от снегопадов, однако и там погода зимой стоит хоть ясная, но ветреная. Поэтому крестьянские усадьбы чаще всего стоят в Японии спиной к ветру и лицом к солнцу: вдоль всей южной стороны сельского дома тянется узкий деревянный помост, на котором в солнечные зимние дни обгреваются старые и малые.

По вечерам или в пасмурную погоду единственной заменой такому солнечному обогреву еще недавно была лишь хибати — керамическая корчага с горстью тлеющего древесного угля, которую иностранцы метко прозвали «призраком очага». Возле этого гибрида пепельницы и печки в лучшем случае можно погреть руки.

Если ту же самую корчагу с древесным углем накрыть сеткой и поставить под низенький столик, на который потом сверху кладется ватное одеяло, то это уже будет другая традиционная отопительная система, именуемая котаци. Члены семьи сидят вокруг котаци за ужином или вечерней беседой, держа ноги под одеялом. После войны в японский быт вошли электрические котаци, где тлеющий уголь заменен инфракрасной лампой.

Однако общая концепция отопления осталась прежней. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой их жилища нестерпимо холодны. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить саму комнату, где они находятся. Зимним утром в Токио нередко можно видеть, как соседи перед уходом на работу разводят на дворе костер из каких-нибудь старых ящиков или коробок и греют возле него спины. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание.

Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, настоящему осознаешь значение японской бани — фуру:

это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца независимо от его положения и достатка нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немислимо горячей водой. Зимой это нередко единственная возможность по-настоящему согреться за целые сутки.

Залезать в фуру полагается, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом фуру приносит облегчение от изнурительной влажной жары.

Существование множество юмористических рассказов о нецивилизованных иностранцах, которые совершали тягчайший грех: намыливались в ванне и загрязняли драгоценную горячую воду для всех тех, кто должен был сидеть в ней потом.

Однако, если присмотреться к японцам в общественной бане или где-нибудь у горячих источников, убеждаешься, что и они не всегда ведут себя как предписано. Человек подходит с шайкой к крану или прямо к ванне, окатывается раз-другой и тут же залезает в горячую воду, чтобы согреться и к тому же отмочить грязь. Потом он вылезает, моется мочалкой, споласкивается и уже после этого вновь погружается в воду, чтобы насладиться пребыванием в ней как можно дольше.

Восхищение японской баней несколько остывает после более близкого знакомства с ней. Прикосновение к дереву, может быть, действительно приятнее, чем к эмали или кафелю нашей ванны, а глубина фуру действительно позволяет погружаться по самую шею. Но главный недостаток фуру состоит в том, что к дереву неизбежно прилипают клочки волос, хлопья мыльной пены и что из-за глубины, а также формы деревянного чана его практически невозможно начисто вымыть и хорошо высушить. По утрам японские домохозяйки нередко используют оставшуюся с вечера теплую воду, чтобы прямо в фуру полоскать белье.

И горожанин и сельский житель в Японии привыкли бывать в бане если не ежедневно, то через день, во всяком случае. Напасти столько горячей воды на каждого

человека было бы недоступной роскошью для подавляющего большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях донны сохранился обычай, когда соседки топят фуру по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах еще с прошлого века существуют общественные бани. В Токио, например, ими ежедневно пользуется около двух миллионов человек.

Бассейн такой бани, в котором к вечеру бывает больше голых тел, чем горячей воды, служит главным местом общения для жителей околотка. Обменявшись новостями и набравшись тепла, соседи расходятся по своим нетопленным жилищам.



Погоды тут такие же, что и в Испании, только зимой куда холоднее.

Родриго де Риверо и Веласко, Дневники.
Мадрид, 1609



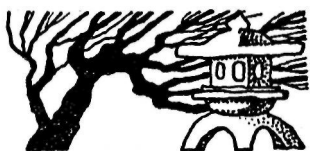
Климат здесь так себе: летом в Токио влажно и жарко, как в Вашингтоне, а зимой — если живешь в японском доме — мерзнешь не меньше, чем в Лапландии. А когда не жарко и не холодно, то обычно идет дождь.

Уолт Шэлдон, Наслаждайтесь Японией. Токио, 1961



Официальные туристские справочники избегают распространяться о погоде. Они упоминают лишь, что Япония имеет умеренный климат, приводят среднюю температуру зимы и лета, а также годовое количество осадков. Это не случайно, так как в целом японская погода мало радует. На весь год приходится примерно лишь тридцать дней отличной погоды, когда не холодно и не жарко, безветренно и безоблачно. Сверх того найдется, пожалуй, еще примерно тридцать хороших дней, когда один из этих четырех признаков отсутствует. Лучшие месяцы — это апрель и май, октябрь и ноябрь. А для других сезонов на один хороший день в неделю приходится три средних и три плохих.

Б. Мэнт, Турист и подлинная Япония. Токио, 1963



Дверь в подлинную Японию

Личное знакомство с домашним бытом японцев безнадежно начинать с попыток пожить в какой-нибудь семье. Приглашать гостей к себе домой у японцев не принято. Даже для семейных торжеств обычно снимают специальное помещение.

Погрузиться в атмосферу подлинной Японии очень трудно и вместе с тем очень легко. Для этого достаточно переступить порог рёкана — японской гостиницы. Потому что рёкан по своему назначению — это улучшенная модель домашнего очага; заведение, которое как бы монополизирует в этой стране функции гостеприимства.

Рёканов в Японии так же много, как храмов. И поскольку ночлег в рёкане — это, пожалуй, самое глубокое проникновение в японскую жизнь, о котором может мечтать иностранец, настоятельно советую не упускать такого случая.

Давно отмечено, что современная цивилизация стирает местный колорит, ради которого путешественник пересекает континенты и океаны; что туристские отели столь же похожи друг на друга, как и аэропорты. Конечно, в одном из них вас будут обогревать, а в другом охлаждать. Униформа лифтера или горничной, возможно, будет отмечена каким-нибудь национальным мотивом. Но кровать всегда останется кроватью, а ванна и унитаз останутся самими собой на любой широте и долготе, так же как столики в ресторане, где завтракают, обедают и ужинают, как кресла в холле, где курят, листают журналы или просто дремлют. При любых вариациях тема везде будет одна и та же.

Японская гостиница в этом смысле представляет собой исключение. Объяснить, что такое рёкан, легче всего от противного: это отель наоборот.

В отеле турист перед ужином надевает пиджак и галстук и отправляется в ресторан. Питается он в общем зале, а принимает душ или бреется у себя в номере. В рёкане же постояльцы моются все вместе, даже в одной и той же воде, а ужинать расходятся по своим комнатам.

Причем к столу принято не одеваться, а раздеваться, чтобы чувствовать себя как можно непринужденнее.

Японская гостиница, подобно «машине времени», уносит вас куда-то в прошлые века. Уже сам вход в нее выглядит так, словно это частный дом, где вы будете не постояльцем, а желанным гостем. Чаще всего это садовая ограда, почти не освещенная, за которую ведет извилистая дорожка между деревьев и каменных фонарей. Подойдя, наконец, к зданию, вы видите чуть приподнятый над порогом навощенный деревянный пол и выстроившуюся на нем шеренгу шлепанцев. Внутри лишь низкая ширма — ни конторки, ни ячеек с ключами.

Помните: вы здесь в гостях! А раз так, не надо удивляться, что комнаты в рёканах не запираются и не нумеруются, а носят всякого рода поэтические названия — цветов, гор или рек.

Стоит вам выговорить магическую фразу, с которой вы стучитесь в Японии в любую дверь, а именно: «Прошу прощения», как хор женских голосов со всех сторон ответит вам: «Добро пожаловать!»

И тут вы почувствуете себя то ли зрителем, то ли соучастником балетной сцены. Из-за кулис выпорхнут несколько женщин в кимоно, каждая из которых прежде всего отвесит вам церемоннейший поклон, распростершись ниц на полу. Потом они, весело щебеча, помогают вам разуться, разбирают ваши вещи и, топоча крохотными шажками по коридорам, куда-то вас ведут.

С этого момента вы должны полностью положиться на волю судьбы. Вас не спрашивают, какую комнату вы хотите — с ванной или без, с выходом в сад или без такового. И уж тем более никто не поинтересуется, в какую сумму квартирных вы должны уложиться. Вам тоже не полагается спрашивать: «Сколько это стоит?» Как гость, вы не имеете права выбора, вы лишь с благодарностью получаете то, что вам предлагают. Принято делать вид, что хозяин оказывает постояльцу все возможное гостеприимство в обмен на добровольное денежное пожертвование с его стороны.

Это касается не только комнаты, но и еды. Здесь нет меню, из которого вы могли бы заказать что-то по своему вкусу. Вас просто накормят ужином и завтраком, по-прежнему оставляя в неведении относительно цен этих непременных приложений к ночлегу. Единственное, что зависит от вас самого, — это количество сакэ, которое

будет согрето к вашему ужину и подано за отдельную плату.

Итак, вас подводят к двери, на которой мастерски выписан иероглиф: сосна, слива или что-нибудь в этом роде. Служанка, опустившись на колени, грациозно отодвигает створку, и вы, оставив в коридоре шлепанцы, благоговейно шагаете внутрь. Комната в первую минуту буквально ошарашивает своей пустотой, полной обнаженностью всех своих плоскостей. Сразу даже не решишь: то ли это предел утонченного вкуса, то ли своего рода сени, за которыми находится само жилое помещение.

Пока вы раздумываете над этим, одна из служанок, в то время как другие вышли, снимает с вас пиджак и столь же проворно принимается стаскивать ваши брюки. Прежде чем вы сообразите, как вести себя в такой ситуации, она наденет на вас полотняное кимоно, обвяжет поясом и пригласит следовать в фуру.

Рёкан — это не просто гостиница, то есть место для временного ночлега. Рёкан задуман как заведение, которое давало бы человеку идеал домашнего уюта, о котором он может лишь мечтать в повседневной жизни. А идеал этот выражается не во внутреннем убранстве, потому что все комнаты в японских домах выглядят одинаково; и даже не в угощении, так как японцы в общем-то равнодушны к пище.

Идеал для них, во-первых, уединение, поскольку это самая недоступная роскошь в Японии, а во-вторых, возможность окунуться вместо тесного деревянного чана в какой-нибудь необыкновенный мраморный бассейн, соединенный с горячими источниками.

Хотя Япония — островная страна, здесь до недавнего времени не было обычая проводить отдых у моря. Более того, море никогда не было связано с романтикой, оно олицетворяло лишь тяжелый, будничный труд.

Отдохнуть и развлечься ездят не к морю, а в горы, где есть минеральные источники, чтобы пять-семь раз за день окунуться в горячую воду.

Поэтому во всем, что касается фуру, фантазия владельцев рёканов не знает предела. В Атами есть гостиница «Фудзия», где баня имеет стеклянные стены, за которыми плавают разноцветные рыбки и колышутся водоросли.

Я никогда не забуду рёкан в приморском городке Ито, куда я попал промокший и иззябший после целого дня,

проведенного под дождем. Меня сразу же проводили в фуру, и я с наслаждением забрался в бассейн.

Там уже сидели два японца. Вскоре я заметил, что их головы стали перемещаться к противоположному краю бассейна и вовсе скрылись в клубах пара. Двинувшись за ними, я попал в какой-то тоннель, а потом рядом со мной вдруг оказались ветки с листьями, которые дрожали от падавших сверху капель. Я поднял лицо, увидел чуть в стороне мокрый каменный фонарь, сосну, качавшуюся под ветром, и только тут понял, что нахожусь в саду.

Лежать в горячей воде, видеть над собой темноту ночи и даже чувствовать на своем лице холод дождевых капель — можно ли более контрастно подчеркнуть прелесть домашнего уюта на фоне ненастья?!



Шесть татами

Постигать достоинства традиционного японского дома, вникать в их смысл лучше всего в рёкане. Не только потому, что вряд ли кто-нибудь пригласит вас к себе с ночевкой, но и потому, что для подавляющего большинства японцев подобный идеал жилища существует скорее в мечтах, чем в реальной действительности.

Особенности японского дома порождены не только угрозой землетрясений, влажностью климата и художественными наклонностями японцев. Своеобразнейшее назначение пола, который одновременно служит постелью и заменяет собой прочую мебель, как и раздвижные перегородки вместо окон и дверей, — все это стремление избавиться от тесноты.

Японская комната пуста именно потому, что при своих ограниченных размерах (чаще всего — шесть татами, то есть около десяти квадратных метров) она должна одновременно служить для семьи и спальни, и столовой, и всем, чем угодно. Единственный ставящийся на татами предмет — низенький столик — после ужина боком прилегают к стене, достают из стенового шкафа тюфяки, свернутые одеяла, и вся комната становится постелью для соответствующего числа людей.

Думаю, что обычай жить на татами укоренился прежде всего как оригинальный способ сберечь пространство.

Может ли выглядеть воплощением художественного вкуса комната из шести татами, если в ней живет целая семья?! Малыши, ползающие по полу, имеют обыкновенные протыкать пальцами рисовую бумагу на сёдзи, опрокидывать миски с едой, отчего на татами остаются несмываемые пятна.

При всей изобретательности японцев по части экономии места такое жилище неизбежно выглядит захлавленным, тесным и даже грязноватым. Студент, который обычно снимает комнату из трех татами, сидит там как на дне колодца, стены которого — штабеля книг.

Что же касается близости к природе, то она дает о себе знать лишь сквозняками из всех щелей. Когда горожанин раздвигает сёдзи, он чаще всего видит перед собой не сад, а находящуюся на расстоянии вытянутой руки стену соседнего дома или гирлянды развешанного белья.

Жилье сейчас самое больное место в японском быту. «Средний японец обеспечен электротехникой лучше, чем одеждой; одеждой лучше, чем едой; едой лучше, чем жильем» — эта ходкая фраза точно выражает суть образовавшихся в послевоенные годы диспропорций.

На взгляд иностранца, особенно человека с русской натурой, японцы в своем семейном бюджете проявляют преувеличенное внимание к одежде, оставаясь поразительно равнодушными к повседневной пище. Конечно, здесь сказывается сложившееся в стране соотношение цен. Синтетическая нить и другие заменители позволили сделать дешевыми и потому доступными товары широкого потребления: одежду и обувь. В то же время продукты питания, особенно выходящие за рамки традиционного рациона, остаются непомерно дорогими. (Стоимость килограмма мяса и пары туфель примерно одинакова.)

Однако присущее японцам отношение к будничной, повседневной пище как к чему-то сугубо второстепенному в значительной мере коренится в глубине веков. Одежда человека служила в старой Японии символом его общественного положения, а невзыскательность к еде культивировалась как добродетель. Феодалная мораль заставляла

семью больше заботиться о том, в чем появиться на улице, чем думать, что будет у нее к столу.

Ничто не создаст столь приукрашенного представления об общем жизненном уровне японцев, как внешний вид толпы, которая выплескивается по утрам из станций метро и электрички. Люди одеты хорошо — во всяком случае, не хуже, чем в любой из европейских столиц.

Нужно дождаться полудня, чтобы посмотреть, чем питается этот горожанин в отутуженном сером костюме и крахмальной рубашке. К этому часу в деловых кварталах Токио появляются велосипедисты. Каждый рулит лишь одной рукой, а другой держит поднос, на котором в несколько этажей наставлены миски. Посылные из харчевен доставляют обед тем, кто трудится за ультрасовременными фасадами из алюминия и зеленого стекла.

Служащие, что сидят в огромном банковском зале, получают разное жалованье. Но чаще всего и курьеры и столоначальники одинаково довольствуются миской горячей лапши. Разница лишь в том, что одни запивают ее бесплатным учрежденческим чаем, а другие ради престижа отправляются потом в соседнее заведение выпить чашку кофе за ту же цену, что и съеденный обед.

Провожая мужа на завод, домохозяйка даст ему с собой бенто — плоскую лубяную или алюминиевую коробку. Рис, положенный туда вместе с кусочком жареной камбалы и несколькими ломтиками соленых овощей, сварен в электрической кастрюле. В остальном же содержимое бенто не так уж много изменилось с военных лет, когда патриотическим обедом называли «флаг с восходящим солнцем» — кружок красной моркови, одиноко положенный на белый рис.

Показательно, что даже теперь на солдатский паек отпускается лишь 4 тысячи иен (то есть 10 рублей) в месяц, хотя армия, укомплектованная из добровольцев, питается лучше, чем народ в целом.

Статистика отметила рост потребления мяса в стране: не так давно оно составляло два килограмма на душу населения в год. Нынче японец съедает за год семь килограммов, то есть столько же, сколько англичанин или француз за месяц. Холодильники, как видно, вошли в японский быт раньше, чем мясо-молочные продукты.

При нынешних доходах среднего японца питание его могло бы куда больше измениться к лучшему. Но хоть

какие-то перемены в этом направлении налицо. А вот жилищные условия если и изменились, то в худшую сторону. Кажется невероятным, но это так: трудовая семья вынуждена тратить на жилье, как правило, не меньше, чем на питание, а иногда и больше.

Житель японского города знает, что сильнее самой изощренной рекламы действуют на воображение простые листки бумаги, белеющие на фонарных столбах. На них лишь номер телефона и несколько цифр: «Четыре с половиной татами — 6000», «Шесть татами — 9000»...

Цифры на листках означают размеры и месячную стоимость комнат. Подавляющее большинство горожан арендуют жилье у домовладельцев, а шестьдесят процентов сдающихся жилищ — это комната из шести татами. За такое более чем скромное обиталище для небольшой семьи надо платить третью часть зарплаты да еще внести при въезде трех-шестимесячный залог.

При этом, как ни парадоксально, жилище горожанина, поглощающее у него более трети заработка, отличается от крестьянского отнюдь не своими удобствами, а, наоборот, неудобствами: оно и дорого, и тесно, и далеко от работы.

В Японии у восьмидесяти процентов городских семей есть телевизоры. Но восемьдесят же процентов жилищ не имеют канализации. Кран с горячей водой или центральное отопление — редкость вовсе неведомая для подавляющего большинства горожан. Дома их, как и в деревне, обогреваются солнцем и дыханием, а вентилируются сквозняком. От раздвижных окон и перегородок дует так, что от керосиновых или газовых печек немногим больше толку, чем от стародавних жаровен с углем.

В любом городе, а особенно в предместьях, куда ни глянь, как грибы вырастают новые жилища. Но на девять десятых это такие же примитивные деревянные постройки, как и крестьянские дома, лишённые современных бытовых удобств.

Самое худшее во всем этом — бесперспективность. В Японии умеют строить быстро и добротнo. Но тут не увидишь, чтобы на пустыре разом поднимался целый жилой массив.

Городские управы ведут кое-где застройку современных многоэтажных домов. Но главный тормоз в решении жилищной проблемы — частная собственность на землю. Есть в Японии старая пословица: «Хурма плодоносит на

восьмой год, слива на третий». Торговцы недвижимостью переиначили ее нынче на свой лад: «От сливы ждать доходов три года, земля окупается в первый же».

— Мы научились бороться с таким опасным явлением природы, как оседание суши, — говорят японские строители. — Но мы ничего не можем поделать с другим стихийным бедствием — когда земля ползет вверх в своей цене. Это поистине бич наших городов...



Спрос на землю невыносим. По мере того как город расплзается на окружающие его крестьянские поля, труженикам приходится ездить все дальше и дальше (многие из них тратят по пять и даже по шесть часов в день, чтобы добраться на работу и вернуться обратно). Владелец участка близ центра Токио может и пальцем не шевелить, ожидая, пока его земля удваивается в цене каждые два или три года, в то время как у квартиросъемщика нет иного выхода, кроме как платить все больше и больше.

Эдвард Зейденштикер, Япония. Нью-Йорк, 1962



Лишь шесть японцев из ста спят сейчас «по-иностранному» — на кроватях, остальные же девяносто четыре, как и их предки, проводят ночь на полу, состоящем из татами. Сто тридцать фирм, выпускающих ежегодно около миллиона кроватей, всячески рекламируют их удобство и гигиеничность, утверждая, что в тридцати сантиметрах от пола воздух наиболее насыщен пылью. Однако мастера-ровые, что ходят из дома в дом заменять и подновлять старые татами, не беспокоятся за будущее своего древнего ремесла. Они знают, пока с жильем туго, люди не откажутся от пола, способного служить постелью.

«Правда», сентябрь 1967



Семьдесят процентов квартиросъемщиков в японской столице имеют по одной комнате на семью. Причем 43 процента из них живут на площади в шесть татами, а остальные 27 процентов имеют лишь по четыре с половиной татами. Эти данные, собранные федерацией домохозяек, показали остроту жилищного кризиса в Токио, где три четверти съемщиков теснятся на площади семь-десять квадратных метров на семью.

«Правда», октябрь 1968



Полтораэтажный Токио

Излюбленный прием описания больших городов: Москвы с Ленинских гор, Парижа с Эйфелевой башни или Нью-Йорка с Эмпайр стэйте билдинг — мало подходит для Токио. Не потому, что границы одиннадцатимиллионного гиганта теряются за горизонтом, а потому, что в его панораме нет таких черт, которые могли бы олицетворять японскую столицу, как Кремль Москву, как Тауэр Лондон или как ворота Тяньаньмынь Пекин. Даже географический центр Токио — императорский дворец — не доминирует над городом и со стороны воспринимается лишь как опоясанный рвом парк.

Токио не может похвастать ни гармонией горизонтальных линий, присущей европейским столицам, ни поражающими вертикалями американских городов. Японскую столицу совершенно не затронул спор современных градостроителей о том, какая планировка лучше — линейная или свободная, потому что ей в равной степени неизвестно как то, так и другое.

Токио — это море деревянных домов, преимущественно в один-два этажа, сгрудившихся так беспорядочно и тесно, словно это мебель, которую кое-как сдвинули в угол комнаты на время, пока красят пол, сдвинули и забыли поставить на место.

Японцы говорят, что Токио дважды имел и дважды упустил возможность покончить со своей хаотичностью и заново построиться по плану. Первый раз — после землетрясения 1923 года, разрушившего половину города. Второй раз — после американских налетов 1945 года, когда Токио выгорел на две трети и погибло уже не сто тысяч, а четверть миллиона горожан.

Правда, муниципалитет предпринял энергичнейшие меры, чтобы воспользоваться третьим поводом для коренной реконструкции столицы, — подготовкой к Олимпийским играм 1964 года. С тех пор Токио заметно похорошел. Выросло много новых зданий, радующих глаз смелостью архитектурной мысли, безукоризненным качеством строительства, применением новейших отделочных ма-

териалов. Новой чертой в облике столицы стали эстакадные автострады.

Однако многое в намеченных планах пришлось уже по ходу урезать из-за вздорожания земли — той, что надо было выкупать у владельцев вместе с домами, намеченными к сносу. Трехкилометровый проспект Аояма, например, обошелся в три миллиона иен за каждый погонный метр. Его можно было бы во всю длину и ширину оклеить деньгами, ибо заплаченный выкуп составил здесь 85 процентов расходов на реконструкцию.

Больно видеть и другое: застройка этой лучшей магистрали столицы велась без всякого архитектурного надзора. Владельцы крохотных участков в тридцать-пятьдесят квадратных метров не пожелали уходить с передней линии и понаставили уродливые вытянутые дома по принципу «четыре комнаты одна над другой», а монументальные многоэтажные здания оказались позади.

Япония ныне вправе гордиться талантом своих архитекторов, мастерством своих строителей. При том множестве замечательных зданий, которые были возведены в Токио за последнее десятилетие, лицо японской столицы могло бы неузнаваемо преобразиться к лучшему. Но попробуйте найти точку для панорамного снимка, чтобы каждый увидевший его сказал: какой красивый город! Даже совершенство японской фотоаппаратуры бессильно здесь помочь.

Чтобы сделать удачный снимок первого в городе высотного здания — тридцатишестиэтажного небоскреба концерна «Мицуи», нужен не штатив, а ни более и ни менее как вертолет. Сколько бы вы ни ходили по прилегающим улицам, здание это ниоткуда не смотрится «во весь рост» — оно не служит центром ансамбля, как, впрочем, и Токийская башня, которая, будучи даже выше Эйфелевой, отнюдь не способна украшать город в такой степени, как ее парижская сестра.

Можно по пальцам перечесть архитектурные новинки, которые стоят действительно на виду: олимпийский комплекс Йойоги, гостиница «Отани», газетный трест «Майнити», Национальный театр. В то же время тысячи монументальных зданий затерялись, подобно рассыпанной в беспорядке мозаике, из которой можно было бы составить великолепное панно, если бы архитекторы работали в содружестве с градостроителями.

Итак, Токио остался городом без главной темы, без

определившихся архитектурных черт, которые придавали бы индивидуальность его портрету. Лицо Токио — это не улицы и не здания, это прежде всего люди. Токио волнуется, поражает и удручает прежде всего как самое большое в мире скопление человеческих существ.

Одиннадцать миллионов жителей! Причем девять миллионов из них обитают на территории в 570 квадратных километров. Это все равно что заселить всю Венгрию в Будапешт. Плотность населения на этом клочке земли из понятия статистического перерастает в осязаемое.

Едва на каком-нибудь из центральных перекрестков загорается зеленый свет, как с обеих сторон улицы лавиной устремляются встречные потоки людей. Каждый поток неудержимо катится во всю ширину пешеходной дорожки, не имея возможности ни отступить, ни свернуть, потому что по краям этого коридора нетерпеливо дожидаются своей очереди ряды замерших автомашин. Одна человеческая стена с размаху сталкивается с другой, по середине улицы возникают завихрения, как при рождении тайфуна. Автомашины с трудом ликвидируют эту преграду, которая сразу же возникает на противоположной стороне перекрестка.

Японской столице принадлежит мировое первенство не только по числу жителей, но и по остроте проблем, присущих большим городам. Главная из них — это неудержимый рост города-гиганта. Казалось бы, одиннадцать миллионов человек и полтора миллиона автомашин и так уже до предела заполнили собой этот клочок земли. Но каждый год к ним добавляется еще четверть миллиона жителей и сто тысяч автомашин.

Число последних растет особенно бурно и внушает наибольшую тревогу. В 1950 году в городе было зарегистрировано всего шестьдесят пять тысяч машин. Но едва японское автомобилестроение встало на ноги, его продукция прежде всего хлынула в столицу. За двадцать последующих лет число машин на ее улицах возросло в двадцать раз.

Скопление транспорта с включенными двигателями создает сейчас на перекрестках такой смрад, что во многих полицейских будках пришлось установить кислородные приборы: регулировщики время от времени забегают туда отдышаться, чтобы не потерять сознание.

Даже деревья на центральных улицах не выдерживают и чахнут, и каждый год приходится подсаживать

новые. В этом городе-гиганте, как нигде, много копоти и, как нигде, мало зелени: на каждого жителя приходится лишь по 0,6 квадратного метра парков (в Париже — 8,9; в Лондоне — 9,2).

В часы «пик» над городом кружат полицейские вертолеты, чтобы специальная радиостанция могла информировать водителей о наиболее безнадежных пробках и заблаговременно подсказывать пути объезда. Впрочем, эта вторая задача все больше становится невыполнимой даже при отличной технической оснащенности токийской полиции. Уличное движение, как мрачно шутят токиосцы, превращается в «уличное стояние».

Все большие города мира в той или иной степени страдают ныне от перенапряжения, а порой и закупорки своих транспортных артерий. Но нигде болезнь эта не ощущается так мучительно, как в Токио. Ибо если сопоставить проезжую площадь улиц со всей городской территорией, то в Нью-Йорке она составит тридцать пять процентов, в Париже — двадцать шесть, в Лондоне — двадцать три, а в Токио — всего лишь десять процентов.

Привычный образ современного города — это ансамбли площадей и проспектов, образованные кварталами многоэтажных зданий. Парадокс Токио состоит в том, что крупнейший город мира в основе своей — потерявшее границы захолустье.

Лишь три процента токийских улиц имеют тротуары, лишь три процента домов представляют собой современные многоэтажные здания. Средний для города коэффициент этажности — 1,6. Даже в центральных районах, где сосредоточено большинство «билдингов», то есть банков, универмагов, отелей, показатель этот не превышает 3,5.

Кое-где близ станции подземки или электрички в эту неразбериху одноэтажных деревянных домов вкраплены торгово-увеселительные кварталы. По вечерам там щедро полыхает неон, а в соседних переулках самая что ни на есть сельская глушь: ни фонарей, ни пешеходов. Причем речь идет не о каких-то окраинах: такова японская столица и в пятнадцати минутах и в полутора часах езды от центра.

Если можно говорить о «чувстве Токио», то им является стихия толпы, воплощенная и в потоках людей, и в столь же беспорядочно теснящихся толпах домов.



Токио — наиболее японский город из всех, какие я до сего времени видел. Европейское влияние совсем незаметно в этом огромном центре, насчитывающем у себя свыше полутора миллионов жителей и превосходящем своей территорией Лондон, Москву, Нью-Йорк и все прочие главные города мира. Центр города занимает дворец императора. Торговая часть Токио тянется дальше к востоку. Кто не был здесь, тому трудно представить себе, что такое Гиндза — этот Невский проспект японской столицы. Когда с наступлением вечера вся Гиндза, рынки и лавки освещаются разноцветными бумажными фонариками, то вся эта часть города принимает почти сказочный вид. За Гиндзой тянутся уже жилые улицы города. Они до невероятного узки и кривы. Разобраться в этом крайне запутанном лабиринте однообразных двухэтажных, почерневших от времени деревянных домов почти невозможно.

Д. Шнейдер, Япония и японцы. Спб., 1895



Если посетитель подлетает к Токио со стороны Тихого океана ночью, он будет поражен внезапной вспышкой света, космическим взрывом на краю безбрежной мглы. Если он прилетает днем, он увидит под собой огромное пятно серого и коричневого цвета, характерное почти полным отсутствием зелени, а также каких-либо ориентиров, если не считать нескольких башен, напоминающих о важности радиоэлектроники в современной Японии.

Эдвард Зейденштикер, Япония. Нью-Йорк, 1962

Нет ничего хуже, чем сбиться с пути в путанице токийских переулков и тупиков. Даже для коренных жителей этот город остается загадочным лабиринтом. Мало сказать, что его улицы не признают никакого плана — они к тому же анонимны.

В первые дни своей жизни в Токио я заметил на перекрестках оставшиеся еще со времени американской оккупации столбы с указателями: «Авеню Д», «20-я стрит». Тут же захотелось дать гневную отповедь бесцеремонным янки, посмевающим переименовать на свой лад исконные японские названия.

Однако все мои попытки выяснить у прохожих подлинные имена улиц были тщетны: я слышал в ответ названия трамвайных остановок. Оказывается, Макартур ничего не переименовывал, а лишь предпринял первую и, надо сказать, безуспешную попытку окрестить безымянные токийские улицы.

Лишь накануне Токийской олимпиады 1964 года со-рока четырем магистралям японской столицы были даны официальные названия, но при этом возникло множество почти непреодолимых трудностей.

Так, например, Гиндза (Серебряный ряд) — это целый торгово-увеселительный район, прилегающий к самому оживленному перекрестку в центре Токио. Владельцы здешних магазинов, ресторанов, кинотеатров наотрез отказались менять свой respectable адрес. Но ведь нельзя же было дать одно название двум перпендикулярно идущим улицам! Так и осталась на пересечении Харуми-дори и Тюо-дори некая нейтральная зона: Гиндза западная и Гиндза восточная, Гиндза пятый квартал и Гиндза второй квартал.

В этом городе без плана, в городе анонимных улиц к тому же отсутствует еще и порядковая нумерация домов. Каждый адрес содержит какие-то цифры. Но если вы ознакомитесь с картой в ближайшей полицейской будке, вы поймете, что, во-первых, номера эти идут не по порядку, а отражают последовательность застройки земельных участков, а во-вторых, нумеруются не сами дома, а кварталы и околотки.

В переулке, где я поначалу жил в Токио, через несколько домов от меня помещался портной, а за углом к нему примыкало здание профсоюза медсестер. Первое время я никак не мог понять, почему мои бандероли с московскими газетами нередко попадают в этот профсоюз.

Когда я воспользовался близостью портного, то был поражен, увидев на подкладке костюма этикетку с моим собственным адресом.

Оказалось, что и у меня, и у моих соседей, и у портного, и у профсоюза медсестер — словом, у всех тех, чьи участки смыкаются друг с другом, образуя околоток, который можно обойти по периметру, один и тот же адрес.

Когда находишься в счастливом неведении подобных сложностей и, знакомясь с японцем, получаешь от него визитную карточку с телефоном и адресом, кажется, что разыскать и встретить этого человека в нужный момент — дело простое.

В конце концов, если не сумеешь проехать сам, возьми такси и дай карточку с адресом шоферу. Но, увы, даже эти профессиональные знатоки города могут ориен-

тироваться в нем лишь зонально. Вместо адреса они в переводе на московские понятия привыкли слышать примерно следующее: Замоскворечье, Серпуховка, направо по трамвайным путям до остановки «Школа».

А дальше уже никакой адрес сам по себе ничего не дает. Дальше шофером такси надо править как запряженной лошастью, говоря ему в нужных местах: «направо», «налево», «прямо».

Эти три японских слова приезжий запоминает относительно быстро. Для четвертой команды вполне годится международное слово «стоп». Беда, однако, в том, что, помимо этих терминов, надо знать, куда ехать.

И тут уже никак не обойтись без карты. Вот почему каждый житель Токио, сговариваясь о встрече, тут же непременно чертит на листке бумаги план: как добраться до условленного места.

Люди, часто принимающие посетителей дома, обычно оставляют пачку отпечатанных на ротаторе схем где-нибудь в табачном киоске у ближайшей трамвайной остановки. Карты своего местоположения печатают на рекламных спичечных коробках гостиницы, кинотеатры, бары, кафе. Такие графические дополнения к адресу прилагаются даже к приглашениям на официальные приемы.

Но даже листок, собственноручно начертанный адресатом, не избавляет вас от блужданий. Он приоткрывает тайну не больше, чем зашифрованная схема подступов к кладу, спрятанному на необитаемом острове, и сулит столь же богатые приключениями поиски.

Когда ведешь машину сам, благоразумнее всего передать роль штурмана жене, чтобы ответственность за толкование карты лежала на ней. Если же такая схема попадает в руки шофера такси, он никогда не утруждает дополнительными расспросами ни своего пассажира, ни пешеходов на улице, а с завидной уверенностью мчится куда-то вперед, пока не заедет в тупик.

Когда машина делает отчаянные попытки развернуться, сшибая цветочные горшки и пластмассовые урны для мусора, вас вдруг осеняет: ведь, кроме исполненного тайн чертежа и бесполезного адреса, на визитной карточке есть еще и телефон. Уж тут-то не может быть загадок!

Вы отыскиваете в ближайшей лавочке автомат, с облегчением слышите в трубке голос вашего знакомого, извиняетесь за опоздание и просите, чтобы он сам, как

японец японцу, в двух словах объяснил дорогу шоферу. Инструктаж, однако, затягивается на целых полчаса, а потом вам приходится звонить из разных мест еще, и еще, и еще, ибо объяснить, где в данный момент находится машина, так же трудно, как понять, куда надо ехать.

Лишь после опросов местных жителей и посещения двух-трех полицейских будок выясняется, что вместо бензоколонки фирмы «Идемицу», возле которой живет ваш знакомый и которая фигурировала в качестве главного ориентира на его схеме, вы сделали правый поворот у другой, точно такой же бензоколонки той же самой фирмы.

Добравшись в конце концов до места, вы испытываете даже некоторое удивление. Наслушавшись тут же множество куда более страшных историй, вы в назидание рассказываете токийским друзьям о чудесах древней планировки Пекина, где все улицы пересекаются только под прямыми углами и направлены строго по странам света.

Из-за этого у коренных жителей китайской столицы настолько развилось чувство направления, что вместо слов «направо» или «налево» они говорят: «Идите на север, а на третьем перекрестке поверните на запад». Утверждают даже, что если пекинца с головой накрыть простыней, провезти его по госпитальным коридорам и лифтам и положить на операционный стол, то на вопрос хирурга: «Где болит?», он, не задумываясь, ответит: «На западной стороне живота».

Японцы в таких случаях отшучиваются тем, что их адресная система выдумана для того, чтобы сбивать с толку кредиторов.



Токио настолько перенаселен, что кажется, даже собакам тут приходится махать хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз. Токио — это лабиринт без путеводной нити. Пользоваться здесь городским транспортом — значит обрекать себя на казнь; садиться за руль — значит отправляться в бой; ходить пешком — значит совершать самоубийство.

Уолт Шэлдон, Наслаждайтесь Японией. Токио, 1961



Побывайте на токийском вокзале Синдзюку в половине девятого утра. Каждые сорок секунд к платформе прибывает десятивагонный состав пригородной электрички, набитой втрое сверх его официальной вместимости. Когда распахиваются двери и на место сошедших устремляются новые толпы, вступают в действие бригады «толкачей». Их специально нанимают из крепких мускулами студентов, чтобы запрессовывать пассажиров в вагоны. После отхода поезда платформа бывает усеяна оторванными пуговицами, сломанными каблуками, оброненными в давке шляпами, перчатками, сумочками. На узловых станциях — таких, как Синдзюку, Уэно, Икебукуро, — имеются специальные киоски, где женщина, вытолкнутая из вагона без одной туфли, может взять напрокат шлепанцы. Около пяти миллионов человек ежедневно ездят из предместий на работу в Токио. Зимой транспортная проблема обостряется до предела: пассажир в пальто занимает на 10 процентов больше места. Таким «толкачам» уже не под силу справиться с этой прибавкой.

Сообщение агентства Киодо, январь 1969



Жизнь на колесах

Не следует думать, что Токио единственный в Японии город-лабиринт. Хаотичная застройка населенных пунктов, узкие улицы и плохие дороги типичны для страны в целом. Это имеет свою историческую подоплеку. Вплоть до 1868 года Япония не ведала колес. Знать передвигалась из города в город на носилках, воины и гонимые — верхом, земледельцы, ремесленники, торговцы, то есть люди низших сословий, могли путешествовать лишь как пешеходы.

Долгое время в Японии вовсе не было дорог, по которым могла бы проехать даже простая повозка, и совершенно отсутствовало пассажирское сообщение. Тем любопытнее, что японцы были одним из первых народов, учредивших правила движения. Врач Самберг, который посетил Страну восходящего солнца в 1770 году, писал:

«Они очень заботятся о порядке на дорогах. Они подумались даже до того, что люди, следующие в столицу, всегда придерживаются левого края дороги, а для тех, кто движется им навстречу, предназначена правая сторона. Вот правило, которое очень пригодились бы в Европе».

Правда, нынче, то есть двести лет спустя, Японию уже, пожалуй, никто не назовет образцом Порядка на дорогах. Если что и соблюдается неукоснительно, так это лишь сама идея левостороннего движения. В остальном же японский водитель настолько привык двигаться в потоке, что обращает очень мало внимания на какие-либо правила. Когда вместо впереди идущих машин перед ним оказывается пустое пространство, он способен проскочить перекресток не только на желтый, но даже на красный свет.

Полицейские же относятся к нарушителям с совершенно необъяснимой снисходительностью, хотя всего столетие назад любое нарушение дорожных правил немедленно каралось ударом меча. За десять лет до того, как между Токио и Иокогамой была открыта первая в Японии железная дорога, англичанин, схавший верхом по этому маршруту, был насмерть зарублен за то, что вовремя не сошел с коня при появлении японского вельможи.

Колеса впервые вошли в японский обиход как часть отнюдь не самого славного для мировой цивилизации изобретения: одноосной повозки, в которую впрягался человек. И хотя слово «рикша», так же как слово «кули», привычно ассоциируется с образом старого Китая, обычай ездить на людях отнюдь не относится к числу многочисленных японских заимствований у их азиатского соседа. Сомнительная честь этого изобретения принадлежит американцу Гобле.

Он попал на Японские острова как один из матросов коммодора Перри, «черные корабли» которого были первой попыткой колонизаторов взломать запертые двери феодальной Японии. Ознакомившись со средствами сообщения в Стране восходящего солнца, предприимчивый американец первым наладил производство двухколесных колясок, получивших японское название «дзин-рики-ся», что при переводе каждого из трех иероглифов означает «человек-сила-повозка». В английском языке слово это трансформировалось в «джин-рикша» и уже потом вошло в обиход иностранцев не только в Японии, но и в других азиатских странах просто как «рикша».

История японских железных дорог началась 12 сентября 1872 года, когда из Токио в Иокогаму отправился первый пассажирский поезд. Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны

так же, как японец привык входить в дом: прежде чем ступить на подножку, каждый из них машинально разувался. Когда через пятьдесят семь минут восхищенные сановники сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением обнаружили, что никто не позаботился заранее перевезти и расставить на перроне их обувь.

Видимо, именно этот случай на целое столетие вперед отучил японцев отождествлять вагон с жилым помещением. Стоит пассажирам занять свои места, как на пол тут же летят обертки от конфет, кожура мандаринов, газеты, пустые консервные банки...

Железные дороги быстро и прочно вошли в быт японцев. Поезда всегда полны, причем, по крайней мере, треть пассажиров едет не по необходимости, а ради удовольствия. Об утренних приливах рабочей силы из пригородов — разговор особый. Но и в часы затишья циркулируют специальные поезда, битком набитые детворой. Каждая школа организует по две экскурсии в год, планируя их так, чтобы до девятого класса каждый учащийся своими глазами увидел все достопримечательности страны — размеры Японии, а также льготный проезд делают это возможным.

Первое время мне казалось, что, кроме немногочисленных экспрессов со спальными вагонами (расстояния здесь такие, что редко приходится ехать больше восьми часов), ночью в Японии курсируют лишь товарные поезда. Оказалось, что это не так. Пригородные составы, освободившиеся от вечернего «пика», используются в ночные часы, чтобы перевозить крестьянские и студенческие экскурсии по самому низкому тарифу. Осенью, в сезон свадебных путешествий, билеты на скорые поезда можно достать только заранее: их разбирают молодожены.

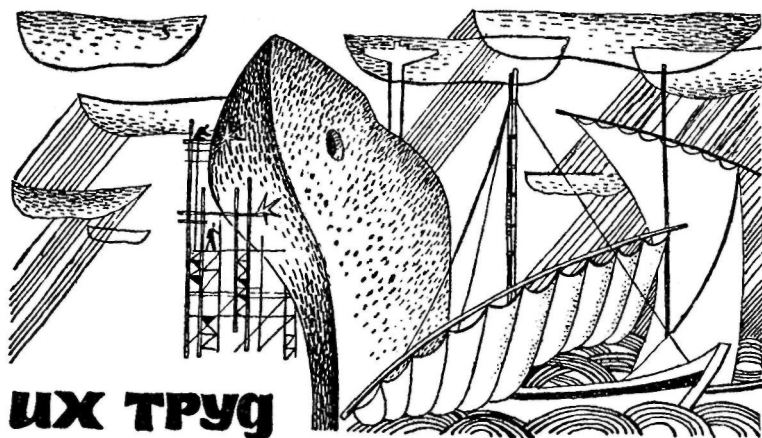
Куда болезненней входит в жизнь Японии автомобиль. Никому не могло прийти в голову плодить в стране паровозы и вагоны раньше, чем будут проложены рельсы. Между тем с автомашинами получилось именно так: поток их хлынул с конвейера и уперся в бездорожье.

В 1960 году Япония по производству автомашин вышла на пятое место в мире, перегнав Италию, в 1964 году — на четвертое, перегнав Францию, в 1966 году — на третье, перегнав Англию. В 1967 году Япония выпустила три миллиона двести тысяч автомашин, опередив Западную Германию и уступая отныне лишь Соединенным Штатам Америки.

При двадцати миллионах зарегистрированных в стране автомашин иметь на душу населения всего лишь по полметра дорог с покрытием, — такой парадокс не мог остаться безнаказанным. Около пятнадцати тысяч убитых, полмиллиона раненых — вот ежегодный счет жертв уличного движения.

Жизнь на колесах стала нынче уделом народа, который еще столетие назад вовсе не знал колес. Дорого-визна жилья вытесняет горожан все дальше в предместья. Если раньше окраины из тесно сгрудившихся деревянных домиков в один-два этажа тянулись на полчаса, то теперь тянутся на два. Все понимают, что в условиях Японии это вопиющее расточительство земельной площади, что куда целесообразнее было бы строить многоэтажные комплексы — стало бы просторнее жить, легче наладить коммунальное хозяйство. Но из-за частной собственности на землю, из-за непрерывного роста цен на нее об этом остается только мечтать.'

Японская жизнь издавна подчинялась круговороту четырех времен года. Теперь она пульсирует в суточном цикле приливов к городам.



ИХ ТРУД

Скученность и простор

Проселочная дорога взбирается вверх, огибая выступы лесистых гор. Как непривычно ощущать величие и покой нетронутой природы, вглядываться в пестреющие маками луга, в лесистые взгорья, что, все гуще лиловыея, уходят вдаль к снежной цепи. Как странно шагать одному и слышать одно лишь птичье пение!

От единственного попутчика — крохотного мальчугана с огромным скрипучим ранцем — удастся узнать, что автобус ходит здесь лишь дважды в день: ранним утром и поздним вечером (отчего и приходится возвращаться из школы пешком).

Действительно, проехал почтальон на своем красном мотоцикле, и больше никого. Шагаешь по безлюдному проселку и не перестаешь удивляться: неужели это Япония? Та самая страна, где города и поселки срослись воедино, где борозды полей и огородные грядки упираются в заводские корпуса; где о тесноте напоминают даже сиденья в автобусе или кресла в кинотеатре, даже окна и двери, которые не открываются, а раздвигаются...

Мало кому из приезжих раскрывает Япония свое другое лицо. Существует представление, что необжитые просторы остались лишь на Хоккайдо — самом северном из Японских островов, где на пятую часть территории стра-

ны приходится лишь двадцатая часть ее населения. На Хоккайдо японцы смотрят так же, как русские на Дальний Восток или американцы на Дальний Запад.

Хмурый берег Охотского моря. Будто кости на поле брани, белеют выброшенные волнами коряги плавника. Уходят к горизонту пологие взгорья, над которыми тяжело громоздятся облака. На бескрайних пустошах желтеют одуванчики и лениво пасутся коровы. Овраги, поросшие лопухом. Березовые рощицы. Стога сена. Молочные бидоны на дощатых помостах. Редко разбросанные усадьбы с силосными башнями и длинными крытыми поленищами. Таков Хоккайдо.

Но японская Сибирь не только там. Она всюду. Чтобы увидеть ее, достаточно лишь отклониться от традиционного туристского маршрута. Вслед за Токио он обычно пролегает через семь японских городов, население каждого из которых перевалило за миллион, — это Иокогама, Нагоя, Киото, Осака, Кобе, Китакюсю и Фукуока. (Напомним для сравнения, что во Франции, кроме Парижа, нет ни одного города с миллионным населением.)

Эта цепочка перенаселенных человеческих муравейников, беспорядочно разросшихся вокруг портов, образует так называемый Тихоокеанский промышленный пояс.

Но стоит лишь свернуть в сторону от этого продывленного скопища машин и людей, как глазам откроются лесистые горы, реки с пенящимися водопадами, альпийские луга, тихие вулканические озера, дремлющие среди вековых елей. Такова северо-восточная и центральная часть Хонсю, таков юг Сикоку и юг Кюсю.

Однако границы этой малознакомой нам Японии очень запутаны и извилисты. В отличие от Италии с ее четким разделением на индустриальный север и аграрный юг экономические зоны в Японии как бы перемешаны, создавая своеобразный контраст скученности и простора.

Плотность населения в Японии лишь немногим больше, чем в Германии или Англии, и меньше, чем в Бельгии или Голландии. Теснота здесь бросается в глаза прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась менее чем на полтора процентах ее территории.

Когда в 1868 году Япония вступила на путь промышленного развития, она насчитывала тридцать миллионов жителей. Затем население ее выросло до сорока миллио-

нов в 1891 году, до пятидесяти — в 1912, до шестидесяти — в 1926, до семидесяти — в 1937, до восьмидесяти — в 1948 году, до девяноста — в 1960 и до ста миллионов — в 1967 году. Ныне Япония уступает по числу жителей лишь шести государствам мира: Китаю, Индии, СССР, США, Пакистану и Индонезии.

Территория Японии не так уж мала — триста семьдесят тысяч квадратных километров. Это полторы Англии. Однако японская земля на шесть седьмых состоит из почти не освоенных человеком горных склонов. При рельефе, подобном швейцарскому, плотность населения здесь в пять раз выше.

В Японии по сей день наблюдаешь поразительное соседство безлюдной нетронутой природы и перенаселенных равнин, где города и заводские здания теснят и без того крохотные пашни.

Казалось бы, бурное индустриальное развитие послевоенных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако произошло обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается.

Из пятидесяти миллионов человек, сбившихся ныне на площади в четыре с половиной тысячи квадратных километров, то есть на полтора процентах японской земли, двадцать пять миллионов приходится на долю Токио, Осаки и Нагои с их болезненно разбухшими предметями.

Таково новое для Японии стихийное бедствие, именуемое словом «перекос». Промышленное развитие односторонне тяготеет к тихоокеанскому побережью. И это стало в современной Японии причиной многих зол. Редкая фирма отваживается проникать в глубинные районы. Нужны крупные капиталовложения, нужно время, чтобы их окупить. Большинство новых предприятий предпочитает тесниться вблизи портов — сырье ведь поступает из-за морей. Рабочая же сила придет к нанимателю куда угодно. А где будут селиться, как будут жить эти люди, промышленнику нет дела.

Тот же пресловутый закон тяготения расщепляет молекулу крестьянской семьи. Земледелец сознает, что и в родных местах многое можно сделать, чтобы поднять доходы.

Но чтобы осваивать горные склоны, создавать сады,

виноградники, парниковые хозяйства, разводить свиней или птицу, нужны деньги. А когда весь капитал состоит из пары мозолистых рук, приходится исходить из того, что в цехе или на стройке этими руками можно заработать вчетверо больше, чем на поле. Высадив рассаду или убрав рис, из деревень почти на полгода уходят вереницы сезонников. И оттого, что малообжитые районы находятся в каких-нибудь четырех-шести часах езды от Токио, они становятся еще более безлюдными.

Низкие доходы — отток населения — сокращение урожайности — новое падение доходов: вот заколдованный круг, в котором оказалась японская деревня. Наряду с немыслимой теснотой Тихоокеанского пояса в глубинных районах, на которые приходится около трети сельскохозяйственных ресурсов страны, все больше обостряется проблема недонаселенности.

Хотя на хозяйство в среднем приходится лишь по гектару пашни, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. Мало того, даже возделанные поколениями предков поля часто оказываются заброшенными.

Женщины надрывают здоровье, пытаясь заменить ушедших в города мужей. Приходят в упадок оросительные и паводкозащитные сооружения — их некому ремонтировать. Органы местного самоуправления не могут свести концы с концами из-за сокращения налоговых поступлений. Они не в силах удержать врачей, учителей, и в глубинных районах учащаются заболевания, становится все больше школ, где несколько классов размещаются в одной комнате и слушают одного учителя. Даже сельские пожарные дружины приходится, как в годы войны, формировать из пожилых крестьянок.

Японская деревня — это шесть миллионов гектаров пашни на шесть миллионов крестьянских дворов. В старину здесь говорили: горы да море теснят земледельца. Теперь к этому следует добавить еще одно слово: город.

Бывало, заберешься подальше в глушь с фотоаппаратом и все время чувствуешь, будто что-то мешает взять в кадр подлинный сельский колорит: то яркие пластмассовые ведра на пороге дома, то штабель бумажных пакетов с химическими удобрениями, то мотороллер, прислоненный к бамбуковой изгороди.

Все кажется, что ты еще не выбрался из пригорода, — так много в облике села инородного, купленного, фабрич-

ного, — пока не начинаешь понимать, что это и есть характерная черта современной японской деревни.

Внешние приметы отражают суть. Здесь нелегко найти нетронутый сельский пейзаж, но еще труднее найти семью, которая была бы на сто процентов крестьянской. Восемь десятых земледельцев не могут прокормиться со своего надела и подрабатывают на стороне. Если взять крестьянство в целом, то земледелие дает нынче менее половины его доходов.

Японским крестьянам издавна вбивали в голову, что растить рис — занятие более почетное, чем быть ремесленником или торговцем. Из поколения в поколение здесь передавался завет предков: «Земледелие — основа государства». Сам император считается первым из земледельцев и по традиции каждый год собственноручно засекает крохотное рисовое поле возле своего дворца.

И вот оказалось, что две трети этого «почетного сословия» — лишние люди. Мучительный процесс расслоения крестьянства в Японии уже не назовешь стихийным. Он подхлестывается искусственно, он стал правительственным курсом. Суть этой политики состоит в том, чтобы сократить сельское население на две трети — с 36 до 12 миллионов человек.

— Это позволило бы, как говорят у нас в Японии, «одним камнем убить двух птиц», — поясняют чиновники министерства земледелия. — С одной стороны, дало бы индустрии необходимую ей рабочую силу, а с другой — помогло бы укрупнить хозяйства, сделать их более товарными, переместить упор с зерновых культур на животноводство, выращивание овощей и фруктов. Словом, речь идет о рационализации сельской экономики, которая все больше отстает от промышленного развития Японии.

Кто станет оспаривать преимущества крупного хозяйства? Они очевидны. Как бесспорно разумен, особенно в условиях Японии, переход от зерна к высокодоходным товарным отраслям. (При этом имеется в виду, что рис будет закупаться в азиатских странах взамен на японские промышленные товары.)

Дело в том, что суть процесса, который сам по себе отвечает развитию производительных сил, находится в противоречии с формами его осуществления.

Сельское население хотят сократить на две трети. Такая цифра взялась не случайно. Это не что иное, как

удельный вес бедноты среди крестьян. Курс, следовательно, взят на то, чтобы дать простор для роста кулацких хозяйств за счет ускоренного разорения их маломощных соседей, которые частью пошли бы к ним в батраки, а частью вовсе покинули деревню.

— Нужна свежая струя, которая отмыла бы гравий, снеся прочь пыль и песок, — философствуют столичные экономисты.

Но подлинные цели правительственной политики разглядеть нетрудно. Это, во-первых, расчет на то, чтобы окулачить село, вырастить фермерский класс, который стал бы надежной политической опорой правящих кругов, — японский вариант «столыпинской реформы». И это, во-вторых, расчет на то, что волна разорившихся выходцев из деревни разбавит собой ряды пролетариата, собьет цены на городской труд и подорвет силы организованного рабочего движения...

Политика «американизации сельского хозяйства», как ее порой называют, была провозглашена в 1960 году. В течение последующего десятилетия крестьянское население Японии сократилось с 36 до 24 миллионов человек. Однако утечка лучшей части рабочей силы в города не сопровождается соответствующим сокращением числа хозяйств. Сельскохозяйственное производство осталось таким же раздробленным.

— Земледелие становится у нас уделом матушек, дедушек и бабушек, — сетовал однажды один из министров.

Авторов «новой аграрной политики» заботят, разумеется, вовсе не мозоли на женских и стариковских руках. Замысел укрупнить земельные владения, чтобы окулачить село, натолкнулся на преграду, коренящуюся в национальном характере японцев.

Даже став «кочевником XX века», крестьянин проявил поразительно стойкую приверженность к своему родовому наделу. Сказалось представление о долге потомков перед предками как краеугольном камне морали. В японской деревне исстари господствует право первородства. Отцовскую землю нельзя делить. Ее целиком наследует старший сын. Взамен же он должен не только обеспечить спокойную старость родителям, но и принимает на себя обязанности отца по отношению к осталь-

ным членам семьи. Окажись кто-то из младших братьев в трудном положении, он всегда может рассчитывать на отчий дом как на временный приют хотя бы для своих детей: худо-бедно, а с голоду они не помрут.

Прежде отхожие промыслы были уделом младших сыновей. Им надо было где-то на стороне завоевывать себе место в жизни. Для них всегда было трудно сватать невест. Проблема младшего сына была излюбленной темой японской литературы. Теперь жизнь все перевернула: печать шумит о проблеме старшего сына, ныне уже его сторонятся невесты. Крестьянские девушки понимают, что теперь и глава семьи будет пропадать в отходе большую часть года, а участь его жены — быть пожизненной батрачкой у свекрови на наследственном земельном наделе.

Даже фактически перестав быть земледельцем, японский крестьянин ни за что не хочет расставаться со своим отчим домом и предпочитает кочевать между селом и городом.

Высокие темпы промышленного развития не сгладили, а лишь усугубили контраст скученности и простора. На тех полутора процентах территории, где послевоенные Перемены очевиднее всего, они не сделали жизнь людей удобнее, а страну краше.

Я не хочу сказать, что Япония живописна лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнуют душу созданные поколениями уступчатые террасы рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стебельков? Или чайные плантации, где сливаются кроны аккуратно подстриженных кустов спускаются по склонам, словно гигантские змеи? Или похожие на шеренги солдат мандариновые роши, где возделаны и засажены даже междурядья?

Ухоженность, отношение к полю как к грядке или клумбе — характерная черта Японии, один из элементов ее живописности. А разве не красят пейзаж бетонная лента Мэйсинской автострады Между Нагоей и Кобе или гордый изгиб моста, перекинувшегося через озеро Бива?

Человеческий труд способен приумножать красоту природы пропорционально разумности его приложения. Но именно там, где облик Японии в наибольшей степени изменился, бросается в глаза надругательство над красотой, особенно вопиющее там, где ее так умеют ценить.

Современная Япония являет собой как бы двойкий при-

мер для человечества: и положительный и отрицательный. С одной стороны, своим жизненным укладом японцы опровергают домыслы о том, будто механическая цивилизация заслоняет от человека мир прекрасного — и в природе и в искусстве. Но с другой стороны, облик Японских островов тревожнее других уголков Земли предостерегает в наш век против губительных последствий неразумного природопользования.



Японская земля очень красива, еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя, — пусть так. На самом деле чудесны японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку назло. И с тем большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обработать и возделывать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей.

Я смотрел кругом и кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все ее скалы и долины. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями, и только одна седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он садил рис.

Борис Пильняк, Камни и корни. Москва, 1935



Если бы в Париже построили виадук над папертью собора Парижской богородицы; в Версале — маленькую Эйфелеву башню, чтобы смотреть на дворец сверху; если бы металлургические предприятия компании «Юзинор» избрали Лазурный берег местом строительства своих доменных печей; если бы за римским Колизеем появился завод, а на афинском Акрополе — Луна-парк, мы имели бы нечто сходное с тем ущербом, который наносит Японии неистовая модернизация. Японский капитализм, порой жестокий с людьми, еще меньше церемонится с природой: он слишком спешит. Законы, дающие ему всякого рода права, налагают на него мало обязанностей в отношении общества...

Робер Гиллен, Столетие Японии. Париж, 1967



Маршрутом художника Хиросиге

Для полной иллюзии не хватает лишь светового табло: «Застегнуть привязные ремни». В остальном все напоминает кабину современного реактивного самолета: ряды мягких кресел — по три справа и два слева от прохода; удобная откидная спинка, к подлокотнику можно приладить складной столик; наверху плафоны дневного света; сбоку — индивидуальная лампочка с узким лучом; звонок, возле которого нарисована девушка в пилотке; кондиционированный воздух; а главное — ощущение той предельной скорости, когда стальная птица должна вот-вот оторваться от земли.

Но разбег все длится и длится, так и не переходя в полет. Ведь мчимся мы не по бетону аэродрома, а по рельсам, мчимся в вагоне экспресса «Хикари» по Новой Токайдо.

Сверхскоростная железнодорожная магистраль унаследовала имя старинного тракта. Токайдо — Дорога у восточного моря — шла от Эдо * до древней императорской столицы Киото. Тракт имел пятьдесят три станции. На каждой из них верховые меняли лошадей, через одну останавливались на ночлег.

Новая Токайдо протянулась еще дальше, до Осаки. Но все расстояние в пятьсот пятнадцать километров «Хикари» пробегает за три часа. Между Токио и Киото поезд делает теперь лишь одну минутную остановку в Нагое.

Глядишь в окно на проносящиеся мимо города и вспоминаешь великого живописца Хиросиге. В 1832 году он провел этой дорогой коня, посланного сёгуном в подарок императору. Впечатления многодневного пути художник воплотил в серии картин «Пятьдесят три станции Токайдо», увековечившей портрет Японии того времени.

Как бы соперничая с этим замыслом, экспресс «Хикари» стремительной кинолентой раскручивает перед глазами панораму Японии наших дней. Сохранила ли она сходство с портретом Хиросиге?

* Так назывался Токио, когда был столицей сёгунов — военных правителей Японии.

Той же суровой недоступностью веет от гор, теснящих к морю лоскутные поля. С той же покорностью кланяются земле согнутые пополам крестьянские фигуры. Природа, кажется, по-прежнему свысока смотрит здесь на своего пасынка — человека. Многие ли меняют шагающие по кручам линии высоковольтных электропередач или торчащие над сельскими крышами телевизионные антенны?

Но вон там, слева, где дорога издавна жалась к пенной кромке морского прибоя, экскаваторы грызут седой замшелый утес. Гордо и стойко отбивал он извечное нашествие воли. А теперь половина его уже лежит внизу, где дерзко выдвинулся в море насыпанный, намытый прямоугольник земли. На нем, словно в фантастическом городе, высятся серебристые башни, резервуары, сложные переплетения труб — нефтехимический комбинат на клочке отвоеванной людьми суши.

Когда-то Ильф и Петров писали о Соединенных Штатах как о стране, где человек и природа состязаются в рекордах. В Японии впечатляет другое: размах там, где, казалось бы, негде да и нечем развернуться. В стране, которая вынуждена ввозить восемьдесят процентов необходимого ей сырья и двадцать процентов продовольствия, природные возможности служат скорее контрастом тому, что творит человеческий труд.

Ведь Япония, которая спускает на воду половину всех строящихся в мире судов и держит первенство по выпуску телевизоров, радиоприемников, фотоаппаратов; которая вышла на второе место в мире по производству автомашин, синтетического волокна и на третье место по выплавке стали, создала свой промышленный потенциал почти целиком на привозных ресурсах. Единственное, чем она наделена в достатке, — это спорые руки и дельные головы.

Еще в 1955 году зарубежные конкуренты могли все не принимать японскую металлургию в расчет — она едва достигла тогда своего довоенного уровня: семи-восьми миллионов тонн стали в год. Но в 1956 году выплавка стали перевалила за десять миллионов тонн, в 1960 — за двадцать, в 1965 — за сорок, в 1968 — за шестьдесят, в 1969 — за восемьдесят и в начавшемся десятилетии приблизится к ста миллионам тонн, то есть к нынешнему уровню США и СССР.

С середины пятидесятых годов Япония опережает по темпам развития все другие капиталистические страны.

Ежегодно увеличивая объем промышленного производства более чем на десять процентов, она вырвалась в тройку ведущих индустриальных держав мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Советскому Союзу.

Мчится поезд — двести километров в час, и мысли теснятся, спеша поспеть за ним. Со времен Хиросиге иными стали не только формы жизни, но и ее ритм. «Пятьдесят три станции Токайдо» донесли до нас панораму страны, наглухо закрытой от внешнего мира, дремлющей накануне пробуждения от феодального сна. В противоположность замкнутости, статичности экспресс «Хикари» уже сам по себе воплощает высокие скорости, стремительные перемены. Об этом и шел разговор в вагоне.

— Как удалось вам, японцам, взять после войны такой разгон? Где разгадка ваших высоких темпов? — допытывался английский журналист.

Отвечал наш попутчик, крупный судостроитель из Осаки. Война, по его словам, ничего в Японии не пощадила, но зато расчистила место. Старье не путалось под ногами. Так что, воспользовавшись плодами научно-технической революции, можно было заново переориентироваться на наиболее перспективные отрасли: нефтехимию, радиоэлектронику, автомобилестроение, модернизировать металлургию и судостроение. Словом, целиком переоснастить промышленность новинками мировой техники. Вот производительность труда и пошла круто вверх...

— Добавьте, что заработная плата при этом если и повышалась, то гораздо медленнее, оставаясь куда ниже западноевропейской, — напомнил я.

— Вы говорите, — снова обратился к осакскому промышленнику англичанин, — что на пустом месте было легче создавать все заново. Но как же начинать с нуля? Чтобы делать деньги, говорят бизнесмены, надо их иметь.

Ответ был тот же, что я слышал от японцев уже не раз: встать на ноги помогла война в Корее. Через пять лет после капитуляции еще лежавшая в руинах Япония вдруг стала прифронтовой полосой.

Американцам надо было срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники. Посыпались интендантские заказы. Больше двух миллиардов долларов было впрыснуто в организм частного предпринимательства. Такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности.

Доллары, заработанные на корейской войне, были к тому же удачно использованы: массовые закупки новейшего оборудования сопровождались еще более широким импортом зарубежной технической мысли в форме лицензий, патентов и соглашений о техническом сотрудничестве. Ценные новинки выискивались и покупались всюду, где только возможно, в том числе и в СССР (например, метод непрерывной разливки стали). В 1950—1963 годах Япония потратила на эти цели почти шестьсот пятьдесят миллионов долларов, зато на основе приобретенной технологии получила продукции на тринадцать миллиардов долларов. Импорт зарубежной технической мысли дал стране огромную экономию времени и средств как на научные исследования, так и на внедрение новейших изобретений и открытий в производство.

— К тому же вы, японцы, сравнительно мало тратите пока на военные нужды, всего около одного процента совокупного общественного продукта, — вставил англичанин. — Американцы уже жалеют, что поначалу почти безвозмездно вооружали ваши «войска самообороны». Теперь они спохватились, что без такого бремени Япония быстрее набрала силы, чтобы теснить их на мировом рынке.

— Незначительность военных расходов даст нам примерно пятую часть ежегодного прироста производства, — согласился осацкий промышленник. — Но это только прямой эффект, а ведь есть еще и косвенный.

Наш собеседник пояснил свою мысль. Покупая больше, чем кто-либо, лицензий и патентов, Япония меньше, чем кто-либо, тратит средств на научные исследования. Другие развитые страны не могут позволить себе этого прежде всего по военным соображениям. Именно заботы о боеспособности вооруженных сил толкают великие державы к самостоятельным поискам последнего слова в науке. Япония же могла пока довольствоваться последним словом в технике, то есть открытиями вчерашнего дня, которые уже перестают быть военным секретом.

Японские предприниматели смело сделали ставку на то, чтобы, не застревая на изобретательстве уже изобретенного, сразу вырваться к переднему краю технического прогресса. Когда расчет оправдался, они пошли по тому пути и дальше: перенимая достижения зарубежной мысли, стали искать им иное применение и вышли на мировой рынок с новой продукцией...



В чем причины стремительного развития японской индустрии!

Может быть, секрет состоит в том, что внедрение новой техники привело за последнее десятилетие к росту производительности труда в промышленности более чем на 8 процентов в год? Или, может быть, секрет в том, что доля накопления составляет здесь 32 процента совокупного общественного продукта (почти вдвое больше, чем в США)? Может быть, секрет в быстром повышении квалификации рабочей силы, в том, что при всеобщем обязательном девятилетнем образовании трое из четырех детей стремятся окончить двенадцать классов, а один из четырех — продолжает учиться в техникуме или в вузе! Или, может быть, секрет в том, что стране удалось ежегодно расширять свой экспорт на 14 процентов — в два раза быстрее общего прироста мировой торговли, и что в основном экспортируется продукция ведущих отраслей индустрии — машиностроения и химии!

Журнал «Форчун» (США), 1967



Производительность труда в обрабатывающей промышленности Японии в последние годы была на 97,3 процента выше, чем в Англии, на 87,5 процента выше, чем в ФРГ, и на 59,6 процента выше, чем во Франции. В то же время средняя заработная плата составляла всего 80 процентов английской, 88,8 процента западногерманской и 66,6 процента французской. Если сравнить с Соединенными Штатами, то производительность труда в Японии оказывается ниже всего на 20 процентов, а заработная плата — на 73,3 процента. В результате этого доля зарплаты в издержках производства в Японии в два с половиной — три раза меньше, чем в других капиталистических странах.

Журнал «Новое время» (СССР), 1968



Промышленность Японии более современна, чем у ее конкурентов. 77 процентов всех японских машин создано менее шести лет назад. Ни в одной индустриальной стране крупные фирмы не имеют, однако, такой задолженности, как в Японии. Более 80 процентов их капитала (в США — 35 процентов) составляют банковские кредиты. Готовность предпринимателей обновлять оборудование и расширять производство ценой больших долгов обеспечила длительный бум в экономике.

Есть еще одна причина успехов Японии: большая разница между крупными и мелкими предприятиями. Первые — это носители технического прогресса, вторые — их рабы. Мелкие производители за

бесценок выполняют для крупных фирм самую тяжелую и трудоемкую работу. За их счет Япония часто могла выбрасывать на мировой рынок товары по таким низким ценам, что они оказывались вне конкуренции. В то время как в ФРГ труженики самых мелких предприятий получают около трех четвертей дохода их коллег, работающих в концернах, в Японии эти люди едва зарабатывают одну треть, не имея к тому же ни единовременных вознаграждений, ни льгот по социальному страхованию, ни спланированных пенсий. Японская официальная статистика сообщает лишь о нескольких сотнях тысяч безработных, однако на мелких предприятиях влачит жалкое существование целая резервная армия, насчитывающая около трех миллионов человек, которая обеспечивает себе прожиточный минимум лишь за счет дополнительных приработков в сельском хозяйстве, преимущественно у родителей-крестьян.

Журнал «Шпигель» (ФРГ), 1969



Вот уже пятнадцать лет Япония неизменно выделяет в фонд накопления 30—35 процентов своего совокупного общественного продукта, в то время как другие индустриальные страны лишь 18—20 процентов. В числе причин этого отметим, что военные расходы Японии составляют одну шестую или одну пятую часть английских, французских и западногерманских, одну десятую часть американских и лишь одну треть итальянских. Кроме того, здесь сказывается поразительная бережливость японцев, которая, в свою очередь, является следствием различных индивидуальных и коллективных факторов — от традиционной умеренности в быту до дороговизны образования.

Япония являет собой едва ли не самый разительный пример данного Марксом определения роли правительства, как «комитета, управляющего делами буржуазии». Развитие экономики тут изучается, контролируется и направляется столь интенсивно, как редко еще где в мире. Достигается это тесным контактом монополий с правительством, а исполнителями их директив служат банки, играющие в Японии более значительную роль, чем в любой другой развитой стране. Достаточно лишь как-то ограничить или обусловить банковские кредиты (из которых на три четверти состоит капитал даже у крупных фирм), чтобы деловая активность тут же пошла на убыль.

Специфика японской действительности заключается также в сочетании высокосовременной организации производства с традиционным — порой даже феодальным — образом мышления. На японском предприятии странным образом сохранился дух семейственности и цеховщины. Пожилые рабочие получают вдвое больше молодых за ту же самую работу (даже если они трудятся менее эффективно по причине своего возраста). Там, где людей принято нанимать пожизненно, у трудящихся меньше причин протестовать быстро техническому обновлению предприятия.

Журнал «Экспрессо» (Италия), 1969



Приезжий англичанин бывает шокирован, узнав, что Япония сейчас более образованное общество, чем Великобритания. Японцев, посещающих английские предприятия, поражает там недостаток инженеров. На японских же заводах их обычно больше, чем нужно. Поэтому, как только туда поступает какая-нибудь зарубежная новинка, эти недогруженные специалисты жадно накидываются на нее, внося уйму предложений о том, что в ней можно улучшить. Так очень несложные усовершенствования подчас позволяют существенно поднять производительность.

Журнал «Экономист» (Англия), 1967



Мы в Европе еще часто думаем, что японцы нас догоняют. Но это уже не так: они нас перегоняют. Это мы, если смотреть на нас из Токио, тащимся в темпе XIX века, тогда как они куда резвее устремились в 2000 год.

Еще задолго до конца столетия тихоокеанское побережье Японии станет сплошной городской зоной протяженностью в шестьсот километров. Экспресс «Хикари» — это предвестник будущего, это метро сверхгорода 2000 года, рождающегося в Стране восходящего солнца.

Газета «Монд» (Франция), 1967



Японскому национальному характеру присуща как замкнутость, так и восприимчивость. Сосуществование этих двух противоположных тенденций — ключ к пониманию образа жизни японцев.

Япония: земля, народ, культура. Доклад японской комиссии ЮНЕСКО, 1958



Наиболее врожденной чертой японцев мне представляется их чуткость к окружающей среде. Они умеют приравниваться к изменившимся условиям быстрее, чем большинство других наций. С чуткостью к окружающей среде связаны такие качества японцев, как гибкость, приспособляемость, проворность, а также острота внимания к деталям и способность к точному подражанию.

С. Л. Галик, Эволюция японцев. Лондон, 1903



Японское слово «джиу-джитсу» знакомо, наверное, очень немногим. Но это ключ к уразумению характера японского народа в его отношениях к чужим странам, в этом слове тайна успеха этой удаленной за тысячи миль от Европы страны.

Джиу-джитсу представляет собою целую науку для слабого против сильного. Она учит, что силе нужно противопоставить не силу, а нужно ловко направлять чужую силу для своей пользы. Как каждый самурай прибегал в нужных случаях к джиу-джитсу, так и все японцы, вместе взятые, прибегают к нему: их отношение к иностранцам не что иное, как джиу-джитсу.

Япония усвоила себе все наши новейшие изобретения и открытия, испытала все системы, какие она нашла в Европе, и применила их у себя не точно в таком виде, нет, — она применила их настолько, насколько это нужно было для укрепления ее сил. Она воспользовалась Европой как лестницей, по ступенькам которой она взобралась на вершину Дальнего Востока.

Эрнст фон Гессе-Вартег, Япония и японцы.
Берлин, 1904

Мы говорили, а экспресс «Хикари» иллюстрировал нашу беседу примерами, которые сменяли друг друга как кадры широкоэкранный киноленты. Вот пронеслась мимо Синагава. Во времена Хиросиге здесь была первая из пятидесяти трех станций Токайдо. Там, где художник рисовал харчевни южного предместья Эдо, теперь высится бетонная громада, далеко разнесшая молву о современной Японии.

Длинный фасад облит лучами прожекторов. Он светится в сумерках, словно шкала радиоприемника. Впрочем, именно к такому сравнению, возможно, толкают пылающие на крыше неоновые буквы — «Сони».

— Как вы умудрились обойти столь сильных конкурентов на мировом радиотехническом рынке? — спросил я однажды президента этого концерна господина Масару Ибука.

— Не столько нашей изобретательностью, сколько умением схватывать и развивать неиспользованные возможности изобретений других стран, — усмехнулся он.

В этой шутке была, однако, не только доля правды; в ней была сама суть. Мысль заменить радиолампы транзисторами родилась не в Японии. Но именно концерн «Сони» первым заинтересовал мир «японской новинкой» — создал карманный транзисторный приемник, доступный массовому потребителю.

Масару Ибука любит повторять, что теряет всякий интерес к продукту, как только он перестает быть новинкой.

Едва выпуск миниатюрных радиоприемников освоили другие японские компании, «Сони» сделала ставку на

портативный транзисторный телевизор, который имеет экран с коробку сигарет, умещается в дамской сумочке. Фирма, которая до конца пятидесятих годов вообще не прикладывала рук к телевизионной технике, сумела буквально заполнить этим новым продуктом американский рынок; нашла оружие, чтобы победить конкурентов в стране, где голубые экраны вошли в быт задолго до войны.

«Микротелевизор» еще только входит в моду, а Масару Ибука уже готовит ему смену: домашний видеотайп — аппарат вроде кинокамеры, которым можно снимать на магнитную ленту, а потом воспроизводить изображение на телевизионном экране. Вся техника, что на американских и европейских телестудиях занимает целую комнату, втиснута в размеры обычного магнитофона. Задуманы также видеопластинки, которые позволят не только слышать, но и видеть исполнителей.

Что же дальше? Дальше в мечтах конструкторов «Сони» — настольные электронно-вычислительные машины, доступные, как соробан — японские костяные счеты. Концерн ведет исследования в этой области. Как движутся они? Об этом рассказывают неохотно. Больше стараются узнать, в каком направлении действуют зарубежные фирмы, чтобы воспользоваться их находками.

В целом расчет японских дельцов оправдался. Но их подход имел и свои отрицательные последствия. Поглощенная больше тем, где найти и как перенять что-то готовое, японская инженерная мысль в немалой степени утрачивала вкус к дальней перспективе. Нежелание частных фирм самим тратить деньги на научные исследования привело к тому, что многих талантливых ученых переманили американцы.

Увлечение импортом зарубежного технического опыта обернулось отставанием фундаментальных наук. Оно все больше дает о себе знать. Наиболее дальновидные фирмы понимают, что пора уже самим прокладывать новые пути — без этого не выиграешь в конкурентной борьбе.

Будто подсказывая наглядный пример, экспресс «Хикари» замедлил ход, чтобы сделать первую остановку на своем пути. Внизу под эстакадой проплыли улицы Нагои. Потом потянулись корпуса цехов со знакомой каждому японцу маркой «Торэй». Это был завод фирмы «Тойо рэйон» — главного производителя искусственного волокна и изделий из него.

Фирма первой в Японии начала выпускать нейлон, купив патенты в Америке у концерна «Дюпон». Она хорошо нажилась на этом, будучи первой, но понимала, что не останется единственной. Синтетическая нить произвела переворот в текстильной промышленности. Спрос на нее увеличивался из года в год. Однако число желающих погреть руки на этом прибыльном деле росло еще быстрее. Все новые компании вкладывали туда свои капиталы и, несмотря на явно обозначившуюся угрозу переизводства, вводили в действие завод за заводом.

Чтобы сохранить за собой лидерство в условиях обостряющейся конкуренции, фирма «Тойо рэйон» выделила солидную долю прибыли на разработку принципиально новой технологии. Был создан институт фундаментальных исследований, нацеленный работать на десятилетия вперед.

Один из результатов этих усилий можно увидеть на заводе в Нагое.

При изготовлении капролактама — сырья для нейлона-6 — здесь впервые освоено промышленное применение реакции фотосинтеза. Человек воспроизвел нечто подобное тому, что творит солнечный луч в зеленом листе. Да и сама установка похожа на живой организм, на печень великана, опутанную сосудами и капиллярами, по которым таинственными процессами струится жизнь.

Восемнадцать реакторов для фотосинтеза — восемнадцать котлов, где бушует ослепительная зеленая стихия. Силу ее постигаешь только у испытательного стенда, где пробуют ртутную лампу в сорок тысяч ватт. А ведь там их множество. В каждом из реакторов заключено вдвое больше света, чем бывает на ярко освещенном стадионе во время вечернего матча.

«Тойо рэйон» намерена предложить покупателям лицензию на новый производственный процесс вместе с полным комплектом оборудования. Такой сдвиг в торговле знаменателен для Японии. Стране, живущей на привозном сырье, несравненно выгоднее продавать оборудование вместе с технологией, чем готовые изделия.

Корпус фотосинтеза на заводе в Нагое показывает, что девиз «Перенимая — опережай» воплощает все более широкий смысл...

— Чуткость к новому — откуда взялось у японцев это качество? Не считаете ли вы, что оно родилось в ответ на принудительную изоляцию времен сёгунов Току-

гава, которые триста лет продержали страну взаперти? — философски заметил англичанин.

— Случилось так, что прежде всех начали перенимать чужое мы, судостроители, — усмехнулся японец. — При чем первым толчком здесь послужил эпизод с русским фрегатом «Диана»...

Произошло это еще во времена Хиросиге, в последние годы его жизни. Сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат. Гигантской волной «Диана» была разбита и затонула. Команде удалось спастись. Русские моряки попросили разрешить им приобрести материал и нанять плотников, чтобы построить небольшую шхуну для возвращения на родину. В благодарности за помощь судно потом передали в дар Японии.

Внезапный интерес к опыту чужеземцев был следствием происшедших незадолго до того событий. В серии «Пятьдесят три станции Токайдо» есть картина под названием «Канагава». Хиросиге изобразил тихую бухту, рыбацьи паруса, задумчивые зеленые холмы — место нынешней Иокогамы. Именно здесь в 1854 году появилась американская эскадра коммодора Перри. «Черные корабли», как их прозвали в народе, возвестили об угрозе вторжения заморских колонизаторов. Перед страной встала срочная необходимость создавать современный флот.

Судьба «Дианы» давала удобный случай поучиться. Чертежи, по которым строилось первое в Японии килевое судно, были сделаны рукой русского морского офицера Можайского — будущего изобретателя самолета.

Ровно сто лет спустя Япония стала первым кораблестроителем мира. И кстати говоря, именно в этой отрасли японцы раньше всего завоевали мировое первенство.

В бухте Канагава, которую когда-то рисовал Хиросиге и где японцы впервые увидели «черные корабли», были спущены на воду морские гиганты водоизмещением свыше ста, а затем и более трехсот тысяч тонн. Здесь, как и в ряде других отраслей, японцам удалось чутко уловить тенденцию. Они предугадали переход к строительству огромных танкеров и встретили его во всеоружии.

Первыми перешагнули за рубеж ста тысяч тонн греческие судовладельцы. Экономическая целесообразность такого пути еще казалась спорной. Япония же решительно пошла по нему, взяв в расчет бурный рост потребления нефти при удаленности большинства индустриальных стран от мест нефтедобычи.

На примере судостроения можно увидеть еще одну примечательную черту японской экономики: осознанное чувство отрасли. Даже в условиях капиталистической конкуренции однородные фирмы ощущают потребность во взаимной координации, сознают необходимость выступать как единое целое при решении многих вопросов.

У предпринимателей есть секреты друг от друга, но, соперничая между собой, они стремятся к повышению общей конкурентоспособности всей отрасли на мировом рынке.

В этом видит свою главную заботу Японская ассоциация судостроителей, по существу выполняющая роль министерства, или, точнее, картеля: она регулирует цены, загруженность заказами, ориентирует компании во всем новом, что делается в стране и за рубежом. На вопрос, что даст ему членство в ассоциации судостроителей, осакий промышленник, не колеблясь, ответил:

— Прежде всего кругозор. В наш век нельзя быть лягушкой на дне колодца.

Мы снова молча глядим на широкий экран вагонного окна, за которым стремительно разворачивается панорама современной Японии. Какую же из черт ее портрета прежде всего оставляет теперь в памяти путешествие по Токайдо?

Чуткость к новому? Конечно, Япония сейчас не та, что во времена Хиросиге. Но сколь бы разительными ни были эти перемены, Япония все же меняется по-своему, по-японски. Чуткость к окружающей среде издавна присуща японскому характеру, стойкому именно благодаря своей гибкости. Стремление приспособиться к современности отнюдь не означает готовности отказаться от своих национальных черт. Напротив: приспособиться всегда означало для японца уцелеть.



Женщина В КИМОНО

В чужой стране люди чаще, чем у себя дома, сетуют на то, что многие самобытные, национальные черты стираются, исчезают в общем процессе обновления форм жизни.

Помню, как наш коллега — французский коммунист Пьер Куртад горевал, что напротив гостиницы «Советская» сносят старые бревенчатые дома с резными наличниками, которые, по его убеждению, украшали этот уголок Москвы неизмеримо больше, чем кварталы типовых многоэтажных зданий. Но люди, селившиеся в этих живописных приземистых срубах, — те, кому приходилось колоть на морозе дрова и до рассвета растапливать печи; кто был вынужден ходить в баню вместо того, чтобы мыться в собственной ванне, — эти люди вряд ли сожалели о переезде в новые благоустроенные квартиры.

С облегчением обнаружив, что в уличной толпе современного японского города все еще можно порой видеть женщин в кимоно, приезжий радуется, что успел застать хоть одну из исчезающих черт «подлинной Японии», и следом тут же принимается сетовать:

— Как жаль, что большинство японок отказываются от своего национального костюма! Неужели они сами не видят, что западные платья и юбки им не идут, делают их коротконогими и нескладными, лишают их своеобразной грации...

Японки, разумеется, знают все это. Конторщицы не ходят на работу в кимоно прежде всего потому, что в нем нельзя спешить: нельзя нестись сломя голову по подземным переходам метро, втискиваться в переполненный вагон — словом, выдерживать лихорадочный темп современной жизни.

Иностранец, негодующий по поводу того, что кимоно носят сейчас не все японки, должен был бы вместо этого поражаться их преданности древнему наряду, хотя он стесняет движения, холоден зимой, дорог и непрактичен, так как его нельзя стирать и приходится распарывать при каждой чистке.

Японская девушка вполне может пройти по улице в кимоно своей прабабки — и наряд этот никому не покажется архаичным или даже старомодным, причем он будет выглядеть как раз впору, даже если девушка эта на голову выше и вдвое тоньше прежней хозяйки кимоно.

Можно лишь дивиться тому, что японский национальный костюм не зависит ни от мод сезона, ни от вкусов поколений, ни даже от роста или комплекции человека.

Кимоно кроится по геометрическим линиям, не связанным с чьей-то конкретной фигурой, и шьется по единому образцу, который вошел в обиход за много веков

до появления стандартного готового платья. Полы здесь не застегиваются, а запахиваются, длина всегда имеет большой запас, так что, надевая кимоно, японка всякий раз как бы заново подгоняет его по себе.

Покрой японского кимоно в основном сложился в VII веке и за минувшие тринадцать столетий лишился своих свободных линий. Однако даже в современном виде кимоно облегает женскую фигуру не для того, чтобы выявить, а для того, чтобы скрыть ее естественные очертания. Широкий пояс с бантом на спине носится значительно выше талии, делая японку плоской спереди и горбатой сзади.

В старом Китае девочкам с малолетства бинтовали ноги, не давая расти ступне. В средневековой Европе женщины добровольно истязали себя корсетами. Японка же стягивает себе не только талию, но и торс, обрекая грудь на участь цветка, сжатого страницами гербария.

Обычай этот ведет к тому, что если в западных странах женщина декольтируется спереди, то японка — сзади. Даже после того, как американская оккупация принесла на японскую почву стриптиз и сделала обнаженное женское тело объектом коммерческой спекуляции, японцы во многом остались верны своим прежним представлениям и вкусам.

Олицетворением женских прелестей у них принято считать затылок, точнее — место, где спина смыкается с шеей. Вот почему наряд гейши с давних времен примечателен тем, что ворот ее кимоно спущен сзади ниже обычного.

Трудно сказать, служит ли бинтование груди причиной или, напротив, следствием обычая привлекать внимание к женской спине. Несомненно, однако, другое: привычка подпоясываться выше талии выгодна японкам с их длинным туловищем при сравнительно коротких ногах.

Не только внешний облик, но и поведение японской женщины резко меняется в зависимости от того, в чем она одета. В кимоно она всегда строго следует старинному этикету. В платье же она будет держать себя сугубо по-японски лишь при очень официальных обстоятельствах.

И если кимоно мало подходит для современной улицы с ее толкотней и спешкой, то западная одежда кажется столь же неуместной на японке, когда видишь ее в окру-

жении традиционного домашнего быта. Насколько грациозен каждый ее жест в национальном костюме, когда, опустившись на колени, она раздвигает сёдзи, настолько неуклюжей выглядит она на татами в короткой юбке.

Предсказание, что после войны, оккупации, разрухи японские женщины никогда уже не наденут кимоно, не сбылось. Параллельно обновлению многих форм жизни в послевоенной Японии шел, казалось бы, необъяснимый процесс возрождения национального костюма. Он вернул свои нравы как наряд для праздников и торжественных случаев. Можно с уверенностью сказать, что кимоно но скоро еще поселится в музеях, по-прежнему оставаясь неотъемлемой частью повседневного быта японцев.



Оные японцы росту среднего и малого, платье у них много схоже с татарским; ходят босые, штанов и портков никаких не имеют; с полуголовы по лбу волосы стрижены и подклеены клеем, назад завязываются кустиком, который торчит кверху, шляпы у них великие, травяные, плоские.

Из донесения капитана бригантины «Архангел Михаил»
Шпанберга, 1739



Самое чудесное эстетическое творение Японии — не изделия из слоновой кости, бронзы или керамики и не мечи, а женщины из этой страны... Лишь жестко регламентированное общество, где собственное мнение подавлялось, а самопожертвование провозглашалось всеобщей обязанностью; где личность могла расцветать лишь изнутри, но никогда не снаружи, — лишь такое общество могло воспитать подобный тип женщины.

Лафкадио Херн, Япония: попытка
интерпретации. Токио, 1904



По данным министерства здравоохранения, в Японии зарегистрировано более трехсот частных клиник пластической хирургии, которые занимаются главным образом увеличением женских бюстов и подрезанием век, с тем чтобы глаза японок выглядели крупнее. В Токио есть клиника, которая ежегодно «европеизирует» 18 тысяч пар глаз и накачивает жидкий парафин в 5 тысяч бюстов. О доходности подобного бизнеса можно судить по тому, что один хирург был недавно привлечен к судебной ответственности за уклонение от уплаты налогов на сумму в сто миллионов иен.

Сообщение агентства Киодо, сентябрь 1968



Гейша

Есть ли в японском языке слово, которое было бы так же хорошо известно за пределами страны и рождало бы образ столь же типичный для представлений иностранного обывателя о Японии, как слово «кимоно»?

Есть. И слово это — «гейша».

Общеизвестность этого термина, однако, отнюдь не рассеивает множества неправильных представлений о его существе.

В буквальном переводе слово «гейша» означает «человек искусства». Гейша — это искусница; искусница развлекать мужчин, причем не только умением петь и танцевать, но и своей образованностью. Приравнивать гейш к продажным женщинам было бы так же неправомерно, как отождествлять с таковыми актрис вообще; хотя, с другой стороны, звание гейши само по себе не может служить удостоверением добродетельного нрава.

Следуя девизу «всему свое место», японцы с незапамятных времен привыкли делить женщин на три категории: для домашнего очага, для продолжения рода — жена; для души — гейша с ее образованностью и, наконец, для плоти — ойран, роль которых после запрещения открытой проституции взяли на себя теперь девицы из баров и кабаре.

Вечер, проведенный с гейшами, — это, конечно, памятное событие, хотя, как правило, оставляет иностранца несколько разочарованным. Именно такое чувство осталось и у меня, хотя впервые познакомил меня с гейшами мэр города, который славится на всю Японию своими красавицами.

В конце ужина появились три «искусницы», две из которых были чересчур молоды, а третья чересчур стара. Яркость их наряда, старинные сложные прически, а особенно толстый слой грима, превращавший лица в безжизненные белые маски, — все это резало глаза, казалось нарочито театральным, неестественным.

Девушки рассказали, что им пошел шестнадцатый год и что обе они лишь несколько месяцев назад внесены в официальный список гейш, который ведется в каждом

японском городе, где есть чайные дома. Одна из них грациозно налила мне сакэ и не менее поэтично разъяснила изречение, написанное на фарфоре. Чтобы не остаться в долгу, я написал начало одного из четверостиший Бо Цзюй-и, и она тут же добавила две недостающих строки с такой уверенностью, будто этот китайский поэт, живший более тысячи лет назад, был ее соотечественником и современником.

Продолжить поэтическое состязание нам не удалось, так как из угла забренчал семисен *. Повинуясь этому сигналу пожилой гейши, девушки вспорхнули из-за стола и исполнили церемонный танец, наверное, еще более древний, чем строфы, которые мы только что писали. После этого все трое встали на колени, отвесили поклон, почти касаясь лбами пола, и скрылись за дверью, пробыв с нами в общей сложности не более получаса.

— Как, и это все? — Если я не выразил свое недоумение вслух, оно, наверное, было написано у меня на лице, потому что хозяин его заметил.

— Даже многие японцы, — сказал он, — шутят сейчас, что приглашать гейш так же глупо, как заказывать шампанское в баре. Пьян с него не будешь, но зато дашь понять гостю, что готов ради него на любые расходы.

— Вечер с гейшами, — любил повторять знакомый журналист-итальянец, — это не более как церковный ужин, приправленный парой анекдотов. Все, что вы там увидите, можно было бы назвать «стриптизом наоборот»...

Действительно, в своем парике и гриме гейша воспринимается скорее как ожившая кукла, чем как живой человек. Турист, который воображает, что увидит в танцах гейш что-то пикантное, глубоко заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен женственности, потому что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра Ноо.

Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застольные игры. Все это время они не забывают подливать мужчинам пива и сакэ, шутят с ними, а главное, смеются их шуткам. На этом какой-либо контакт кончается.

Изучать мир гейш лучше всего в Киото. Там, в районе Гион, сосредоточено большинство чайных домов, а

* Семисен — трехструнный музыкальный инструмент.

также заведений, которые можно было бы назвать школами гейш или их поставщиками.

Хозяйка такого заведения выплачивает определенную сумму родителям девочки, которая поступает к ней в ученицы с шести-семи лет. Помимо занятий в обычной школе, будущая гейша учится пению, танцам, игре на семисене и другим необходимым ей искусствам. Она безотлучно живет в доме своей хозяйки, которая не только учит ее ремеслу, но и кормит, одевает ее и, разумеется, ведет счет всем расходам.

В Японии теперь запрещено работать до завершения обязательного девятиклассного образования, так что затраты начинают окупаться лишь после того, как девушке исполнилось пятнадцать лет.

Чтобы воспитать «искусницу», нужно много времени, а спрос на нее велик лишь в первые годы после дебюта. Вряд ли хозяйка заведения получала бы прибыль, лишь посылая своих воспитанниц в качестве опытных развлекательей. Главный источник ее дохода лежит не в этом. Каждая гейша рано или поздно обретает покровителя, который за право вызывать ее в любое время платит хозяйке заведения очень крупную сумму.

Девушка остается в списке гейш данного города, ее могут пригласить в любой чайный дом, однако покровитель всегда вправе отменить принятую заявку.

Чаще всего в такой роли выступает какой-нибудь престарелый делец, для которого это важно прежде всего по соображениям престижа. Поскольку присутствие гейш символизирует в Японии гостеприимство на высшем уровне (все знают, что удовольствие это стоит непомерно дорого), наиболее важные деловые встречи как в коммерческом, так и в политическом мире происходят в чайных домах. Гейша, которой покровительствует какой-нибудь президент фирмы или министр, выступает в таких случаях в роли хозяйки.

Уже говорилось, что у японцев не в обычае принимать гостей дома или ходить в гости с женой. В результате не только женщины лишены мужского общества, но и мужчинам редко доводится бывать в обществе женском, если не считать гейш или девиц из баров.

Поэтому тот самый японец, который четыре-пять вечеров в неделю проводит в увеселительных кварталах, проявляя себя там общительным и остроумным, превра-

щается в собственную противоположность, встречая женщину в любой другой жизненной ситуации.

Изданный в США путеводитель для туристов предупреждает молодых американок: имейте в виду, что в Стране восходящего солнца вам нечего ждать неожиданных знакомств.

Достаточно раз-другой проехать в поезде, чтобы убедиться в этом. Когда девушка оказывается в купе с тремя попутчиками, трудно представить себе, чтобы они так или иначе не проявили своего отношения к ней как к существу иного пола. Пусть это не будет ухаживанием, даже шутливым. Но случайной спутнице все же окажут какие-то знаки внимания, позволяющие ей почувствовать себя в мужском обществе.

В Японии же делец, едуший на сверхскоростном экспрессе из Токио в Осаку, даже не попытается заговорить с женщиной, сидящей рядом. Он так и будет молчать все три часа из боязни, что его первая реплика останется без ответа; из боязни попасть в положение, в котором можно «потерять лицо».

В стране «искусниц» мужчин отнюдь не назовешь искусниками вести себя в женском обществе, ибо над ними довлеет вездесущий девиз: «всему свое место».



Если вам хочется провести время в живой остроумной беседе, пригласите гейшу. Всегда красавица, молодая, не старше двадцати лет, изысканно одетая, она составит вам очаровательное общество. Гейши — самые образованные женщины в Японии. Остроумные, превосходно знающие свою литературу, веселые и находчивые, они расточат перед вами все свое очарование. С классическим искусством гейша пропоет вам и продекламирует лучшие стихотворения и отрывки из лучших драматических произведений. И все время непринужденно веселая, остроумная и кокетливая, она не потеряет своего женского достоинства. Гейша вовсе не непременно продажная женщина; это, во всяком случае, не входит в ее обязанности; скорее всего это артистка, которую приглашают за известную часовую плату для развлечения и удовольствия художественного. Вас, европейца, не знающего по-японски, она может очаровать только своею молодостью, своею чарующей кокетливостью, своею неизменною живостью, но японцы ценят в гейшах именно художественно образованных собеседниц, незаменимых в обществе.

Г. Востоков, Япония и ее обитатели. Спб., 1904



Человеку, приехавшему в Японию, чаще всего доведется глядеть на гейш издалека, например, когда они выходят из чайного дома или садятся в крытую коляску рикши (последние рикши в Японии возят главным образом их), или же видеть гейш на сцене, в кино, по телевидению (многие из них подрабатывают такими выступлениями). Вы можете также увидеть гейшу, сопровождающую своего покровителя в вечернем ресторане. И тут вы будете поражены выражением лица этой женщины: одновременно невинным и чарующим, дерзким и скромным. Отточенная грация танцовщицы будет в каждом ее движении. И поистине апофеозом женственности будет выглядеть ее беспредельное внимание к своему спутнику. Так что даже если вы узнали о ней все, гейша остается экзотичной, загадочной, дразнящей, желанной. Она женщина, но лишь в большей степени, чем мы порой вкладываем в это слово.

Уолт Шэлдон, Наслаждайтесь Японией.
Токио, 1961



Девичьи руки

Темные от времени столбы уходили вверх и терялись в величественном полумраке.

— Взгляните на эти опоры и стропила, — говорил гид. — Храм Хонгандзи — самое большое деревянное сооружение в Киото, одно из крупнейших в мире. Случись пожар — в Японии уже не найти таких вековых стволов. Да и прежде отобрать их было нелегко. А когда свезли, строителям оказалось не под силу поднять такую тяжесть. Как же удалось сделать это? Благодаря женщинам. Сорок тысяч японок остригли волосы и сплели из них канат невиданной дотоле прочности. С его помощью восемьдесят опорных столбов были установлены, балки подняты и закреплены. Вот он, этот канат. Обратите внимание на длину волос. Женщины укладывали их тогда в высокие сложные прически, какие теперь носят только гейши...

Гида слушали рассеянно, но стоило ему упомянуть слово «гейша», как посыпались вопросы.

Туристы из-за океана — табуны великовозрастных бодрячков и горластых пестрых старух — кочуют по Японии, спеша лицезреть оплаченную порцию «восточ-

ной экзотики», неизменным элементом которой служит женщина в кимоно.

В Нагасаки их ведут к «домику Чио-Чио-Сан». В Киото им показывают гейш. В Фукуока они запасаются большими разряженными куклами — чем не наглядное пособие к рассказам о японках!

— Подумать только, такие куколки! — удивляется седая американка, услышав притчу о строительстве Хонгандзи.

Изумаясь тем, что косы сорока тысяч японок помогли когда-то построить самый большой в Киото храм, искатель «восточной экзотики» и не вспомнит о сорока миллионах женских рук, что составляют ныне две пятых рабочей силы Японии.

— Купите эти шелка на память о красавицах древнего Киото! — говорят иностранцам, насмотревшимся на кимоно гейш.

А ведь кроме чайных домов, кроме памятников старинных, куда возят туристов, не меньшей достопримечательностью Киото может считаться целый городской район.

Это Нисидзин, где на сонных с виду улочках от зари до зари слышится стук кустарных ткацких станков. Механический привод здесь пока такое же неведомое понятие, как и профсоюз. Однако места в музее достойны не только домодельные станки, но и то, что создают на них руки сорока тысяч ткачих.

— Скажите, что труднее всего дается в вашем ремесле? — спросил я одну из них.

— Труднее всего ткать туман, — подумав, ответила девушка. — Знаете, утреннюю дымку над водой, и еще бамбук под ветром, когда каждый листочек в движении.

Стало совестно, что я назвал ремеслом то, чему по праву следует именоваться искусством.

Казалось бы, что общего между тесными каморками кустарей и цехами ультрасовременного радиозавода, до которого от Нисидзина несколько веков и несколько минут? Высокие пролеты, лампы дневного света, музыка, заглушающая мерное гудение вентиляторов...

Но на бесшумно пульсирующем конвейере, как и на примитивном ткацком станке, те же виртуозные пальцы творят славу Японии, не менее заслуженную, чем слава киотских шелков.

На девушке серая форменная блуза, волосы убраны под таким же чепцом. К груди приколот жетон с именем и личным номером — он же пропуск в цех. Сосредоточенно склонившееся лицо полуосвещено, потому что яркое и холодное сияние люминесцентных ламп направлено прежде всего на ее руки.

Длинные чуткие пальцы шлифуют линзы для фото- и киноаппаратов, они паяют крохотные проводочки на сборке цветных телевизоров. Они колдуют над шелковой и синтетической нитью. И красота их столь же достойна быть воспетой, как и их умелость. Даже огрубев с годами от крестьянского или рыбацкого труда, с глубокими шрамами и узловатыми суставами, руки японок сохраняют артистическую утонченность. Конвейер же забирает себе их лучшую пору, требуя точности движения, граничащей с искусством.

Девичьи руки — именно они утвердили нынче за Японией славу «царства транзисторов», именно благодаря им японская радиотехника, электроника, оптика, японский текстиль пробили себе дорогу на мировые рынки.

Сельские девушки, которые на пять-семь лет уходят в город, чтобы заработать себе на приданое, — это целый общественный слой, это немаловажный фактор и в социальном и в экономическом бытии современной Японии.

Уходить до свадьбы на текстильные фабрики вошло у крестьянок в обычай еще с конца прошлого века. Тут и крылся секрет дешевизны японских тканей, наводнивших и Азию, и Европу, и Америку в период между двумя мировыми войнами.

Автоматизация производства, переход на конвейер позволили расширить сферу применения этого «секретного оружия».

С пятнадцати лет, после обязательного девятиклассного образования, закон официально разрешает молодежи наниматься на работу. Этим пятнадцатилетним девушкам нет нужды ехать куда глаза глядят. Отчаянно конкурирующие между собой вербовщики сами атакуют сельские школы.

Чтобы понять, чем так прельщают нанимателей девичьи руки, взглянем на труд у конвейера глазами молодых крестьянок. Всех их, как правило, толкает в город одно и то же. Чтобы справить свадьбу, надо истратить в двадцать раз больше денег, чем девушка может заработать за месяц.

Такова незыблемая традиция, которую хочешь не хочешь надо блюсти.

Данные японской статистики гласят, что в стране ежегодно происходит около миллиона свадеб, каждая из которых обходится в среднем по пятьсот тысяч иен. Из этой суммы сто пятьдесят тысяч идет непосредственно на церемонию и угощение, пятьдесят тысяч — на непременно, хотя бы трех-пятидневное свадебное путешествие, двести пятьдесят тысяч — на мебель и домашнюю утварь, которую целиком должна приобрести невеста, и еще пятьдесят тысяч на другие расходы.

Не будем говорить здесь о достоинствах и недостатках обычая, связывающего со свадьбой самые большие затраты в жизни человека. Подчеркнем лишь, что он существует как немаловажный социологический фактор, который нельзя сбрасывать со счетов.

Характерно для Японии еще и другое. Сельские девушки не считают годы работы на фабрике ступенькой, чтобы навсегда остаться в городе, выйти там замуж. Большинство до сих пор полагаются на то, что жениха им сосватают родители. Свадьба на скопленные в городе деньги играется, как правило, в деревне. В этом еще один пример подспудного влияния вековых традиций на образ жизни японцев. (К тому же молодой семье попросту трудно обосноваться в городе из-за непомерной дороговизны жилья.)

Девушка уходит из села, чтобы вновь туда же вернуться. Годы на фабрике для нее заведомо преходящая полоса в жизни. Этот обычай работать у конвейера до замужества в сочетании с японской системой платить при найме крайне низкую ставку, увеличивая ее в зависимости от стажа, и сделал девичьи руки наиболее прибыльными для нанимателей. К тому же работницу легко уговорить даже эти деньги наполовину оставлять в кассе предприятия, если предложить ей более высокий процент, чем в обычной сберкассе.

Молодую крестьянку ошеломляют расчетом: если она согласится подписать подобное обязательство, через пять-семь лет у нее сложится желанная сумма, по сельским понятиям казавшаяся недостижимой. Причем не надо беспокоиться: скоплю или не скоплю? Хватит ли денег дожить до получения?

За место в общежитии, за рис и миску супа в заводской столовой — за все вычтут при расчете, так что на

руки достаются лишь какие-то пустяки на карманные расходы.

Казарменное положение, котловое довольствие — все это задумано не только для того, чтобы девушкам было легче скопить свое приданое, но и для того, чтобы проще было держать их в повиновении. Пока познакомились, сжились, огляделись — три года прошло; чего уж тут требовать каких-то перемен и идти против течения, когда осталось полсрока?

Другое дело мастера, наладчики, квалификация которых нужна для бесперебойной работы поточных линий. Это своего рода унтер-офицерский костяк, который задиравают высокой зарплатой, искусственно поддерживая отчужденность между «постоянным» и «переменным» составом. На предприятиях, где используются девичьи руки, работницам стараются внушить, что профсоюзы вообще дело не женское.

Вот расчет, построенный на официальной правительственной статистике. В Японии трудятся двадцать миллионов женщин, в том числе девять миллионов по найму, причем шесть миллионов из них не объединены ни в какие профсоюзы. Если вспомнить, что в стране ежегодно бывает миллион свадеб и что молодые японки трудятся у конвейера в среднем шесть лет, вполне обоснованным будет вывод, что именно шесть миллионов будущих невест дают предпринимателям самые дешевые и ловкие рабочие руки.

Конечно, большинство японок ищут заработка и после замужества. Они лишь переходят в другой разряд тружениц, в числе тех одиннадцати миллионов женщин, что заняты в «семейном производстве».

Покупая цветные гравюры великих мастеров прошлого Хокусаи или Хиросиге, иностранные туристы любят философствовать о неизменности лица Японии. Все так же оттеняют синеву весеннего неба снега Фудзи и первые розовые соцветья сакуры. Столь же колоритны согбенные фигуры в соломенных шляпах среди блеска залитых водой рисовых полей. Ведь все еще нет машины, которая могла бы заменить чуткость человеческой руки, способной глубоко посадить куст рассады в холодную жидкую грязь и не повредить при этом ни одного из нежных стебельков.

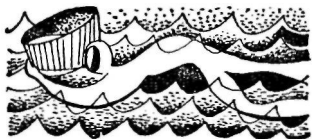
Все так же расшивают серебриющуюся гладь полей ровным зеленым узором. Чтобы заметить перемену, надо подойти и взглядеться: чьими руками? Из села ушла молодежь. Мужчины, вспахав землю, тоже отправляются в отход до жатвы.

Остаются женщины. Им приходится брать на себя самое тяжелое звено в древней цепи сельскохозяйственных работ.

Ну, а девушки из городских семей? Их тоже под разными предлогами переводят после замужества в разряд «повременных» или «внештатных» работниц с очевидной целью: привязать женщин к низкому заработку, лишить их надбавок за стаж, а также других благ, отвоеванных профсоюзами в упорной борьбе.

Вот достаточно красноречивая цифра. Средняя зарплата женщин в стране вдвое меньше, чем у мужчин.

Сорок тысяч японок, что помогли возвести храм Хонгандзи, стали легендой. Но справедливо ли оценена тяжесть, которую поднимают сорок миллионов женских рук в наши дни?



Рождение жемчужины

Как человеческое воображение издавна рисовало себе самые несметные богатства? В народных сказках это чаще всего драгоценный ларец или сундук, полный жемчужин, которые можно, как горох, пересыпать горстями. Но даже фантазия волшебных сказок не могла бы представить тридцать трехтонных грузовиков, кузов каждого из которых был бы до краев засыпан жемчугом...

Девяносто тонн отборных жемчужин — вот урожай, который ежегодно дают Японии ее прибрежные воды. История возвращенного жемчуга — это рассказ о том, как человек раскрыл еще одну загадку природы; подчинил своей воле, превратил в домашнее животное такое капризнейшее существо, как устрица. Это рассказ о поразительной способности японцев находить все новое и новое примененные людскому труду, чтобы возместить бедность страны природными ресурсами.

Жемчуг — болезненное отклонение от естества, которое присуще организму устрицы не больше, чем камень в печени присущ человеку. Для того чтобы внутри моллюска образовалась жемчужина, необходима целая цепь случайностей.

Это происходит, во-первых, лишь когда под створки раковины попадает песчинка; когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы, не поранив при этом ее внутренних органов; наконец, в-третьих, когда песчинка эта затащит вместе с собой кусочек поверхностной ткани моллюска, способной вырабатывать перламутр. Такие клетки начинают обволакивать инородное тело радужными слоями, постепенно образуя перл.

Воспроизвести все это с помощью человеческих рук — значит тысячекратно увеличить вероятность некогда редкого стечения обстоятельств, сохраняя при этом сущность естественного процесса.

Жемчуг, выращенный при участии человека, в такой же степени настоящий, как и природный, то есть образовавшийся в раковинах случайно. Разве усомнится кто-нибудь в том, что яблоки, выросшие на дичке после прививки побега от культурной яблони, не настоящие? Кому придет в голову считать ягненка, родившегося в результате искусственного осеменения, не ягненком?

Представьте себе горную страну, которая поначалу дерзко вклинилась в океан, оттеснила его, а потом словно сникла, устала от борьбы, смирилась с соседством водной стихии и даже породнилась с ней. Такова родина возвращенного жемчуга — полуостров Сима, где море заполнило долины между опустившимися горами.

Зеленые склоны встают прямо из морской лазури. Уединенные бухты, острова, заливы, похожие на горные озера, — им нет числа.

Прислушаешься — какой-то странный посвист разносится над дремлющими лагунами. Нет, это не птицы. Вон вдали, возле плавающей кадушки, вынырнула и опять скрылась человеческая голова. Это ама — морские девы, ныряльщицы за раковинами и всякой съедобной живностью.

Выработать в себе способность находиться под водой по сорок-восемьдесят секунд, повторяя такие нырки по не-

сколько сот раз в день, — лишь азы ремесла морских дев. Тут нужно еще и умение ориентироваться на дне. Опытная ама отличается от неопытной тем, что ныряет не куда попало, а по множеству примет разыскивает излюбленные раковинами места. И, уж наткнувшись на такой участок дна, ощупывает его, как знаток леса знакомую грибную полянку.

Суть многолетней тренировки, помноженной на вековые традиции, — правильно поставить дыхание. Важно привыкнуть очень осторожно брать воздух после того, как пробудешь под водой эти сорок или восемьдесят секунд. Морские девы делают вдох только ртом, почти не разжимая губ. Так родился их посвист, прозванный «песней моря».

Колышутся водоросли, порхают стаи быстрых рыб, и среди них в сумрачной глубине ищут женщины свою добычу. Протарахтит где-то вдали моторка, и снова тишину над заливом нарушает лишь посвист морских дев — странный, берущий за душу звук.

Перемешав в этом краю горы и воды, природа порадовала художника, но не позаботилась о земледельце. Мужчинам тут негде пахать, и они издавна уходили рыбачить. Подводный же промысел во внутренних заливах стал уделом женщин. Почему так получилось? Говорят, что женщина может дольше находиться под водой, что жировые ткани лучше защищают ее от холода. Пусть так, но главное все-таки не в этом.

Океан требовал мужской работы, порой надо было оставлять дом чуть ли не на полгода. На женщинах же оставалась забота о домашнем хозяйстве. Им приходилось искать пропитание где-то поблизости. И они отправлялись на дно внутренних заливов так, как у нас уходят в лес по грибы или ягоды.

Ремесло ама существует в Японии с незапамятных времен. «Жемчугу тут обилие», — писал когда-то Марко Поло о стране Чипингу. Но добравшиеся до нее в XVI веке португальские и голландские мореплаватели были разочарованы. Вместо золотых крыш и усыпанных перлами нарядов они увидели край суровых воинских нравов и принудительной организованной бедности. Непонятная страна к тому же оставалась закрытой, не допуская иностранцев никуда, кроме Нагасаки.

Лишь три века спустя, когда Япония вынуждена была покончить с затворничеством и распахнуть свои две-

ри перед внешним миром, когда из феодальных пут вырвалась коммерция, когда тяга к приобретению сокровищ, которыми дотолде владели лишь монархи, охватила буржуазию — именно тогда волна стремительных перемен в вековом укладе вознесла на своем гребне человека, ставшего основателем жемчуговодства.

Идея выращивать жемчужины на подводных плантациях впервые пришла сыну торговца лапшой по фамилии Микимото. В 1907 году, после девятнадцати лет безуспешных опытов, ему наконец удалось получить сферические перлы, вводя в тело акая (вид двустворчатых раковин) кусочки перламутра, обернутые живой тканью другой устрицы.

Главной рабочей силой в этих опытах были морские девы. Они рядами раскладывали оперированные раковины по дну тихих бухт, как высаживают рисовую рассаду.

Вскоре, однако, Микимото понял, что при резком расширении промыслов ему не хватит ама для обработки плантаций на дне. Тогда раковины стали помещать в проволочные корзины, подвязанные к плотам из деревянных жердей. Это позволило ухаживать за устрицами с поверхности воды.

Поначалу морские девы действительно были искателями жемчуга. Затем в течение полувека — поставщиками раковин для его выращивания. Однако с середины пятидесятых годов ручная добыча акая с морского дна стала все больше отставать от спроса. Пришлось сделать завершающий шаг на пути превращения акая в домашнее животное: выращивать не только жемчужину, но и саму раковину.

В конце июля вода во внутренних заливах полуострова Сима мутнеет оттого, что моллюски разом начинают метать икру. В эту пору со специальных плотов опускают сосновые ветки. Икринки прилепляются к хвое, и к октябрю на ней уже можно разглядеть крохотные ракушки. Много раз перемещают их потом из одних садков в другие: подкармливают, оберегают от болезней. Наконец, здоровых, полновесных трехлеток продают на жемчужные промыслы.

Лишь этот путь, подобный выращиванию цыплят в инкубаторе, позволил обеспечивать нужное промыслам количество раковин. А их сейчас требуется ежегодно около пятисот миллионов штук!

Помощь морских дев бывает теперь нужна лишь в случае стихийных бедствий. Если с океана налетит тайфун, сорвет с якорей плоты, разметет корзины, лишь ама могут уменьшить ущерб, собрав со дна драгоценные раковины.



Жемчуг был первым из драгоценных украшений, известных людям. Поселения первобытных племен появились в устьях больших рек, на берегах морских заливов. Сбор водорослей и раковин был ведь более древним занятием, чем охота и рыболовство. Когда наш далекий предок вдруг обнаруживал в невзрачном теле устрицы лучистый сверкающий перл, сокровище это казалось ему порождением неких сверхъестественных сил.

Где и когда именно произошло первое знакомство человека с жемчугом, сказать трудно. В истории сохранилось описание случая, который якобы произошел во время пира, устроенного Клеопатрой в честь Марка Антония. Среди сокровищ египетской царицы больше всего славились в ту пору серьги из двух огромных грушевидных жемчужин. Желая поразить римского гостя, Клеопатра, как утверждает историк Плиний, на глазах у Антония растворила одну из этих жемчужин в кубке с вином и выпила эту бесценную чашу за его здоровье. (Правда, специалисты утверждают, что столь крупная жемчужина могла бы раствориться не быстрее чем за двое суток, да и то не в вине, а в уксусе.) Эксцентричную выходку Клеопатры отнюдь нельзя считать первым письменным упоминанием о жемчуге. Есть исторические записи о том, что жители Древнего Вавилона занимались добычей жемчуга в Персидском заливе двадцать семь веков назад.

Очень давно знали о жемчуге и китайцы. Именно они положили начало традиции, которая перешла и в Японию, — придавать форму жемчужины всем другим драгоценным камням. Ранг каждого сановника в феодальном Китае обозначался шариком на его головном уборе. Такие шарики выпачивали из нефрита, бирюзы, коралла, и, разумеется, высшим среди всех их считался шарик жемчужный. Иероглиф «юй», который встречается еще в самых ранних письменных памятниках и обозначает понятие «сокровище», «драгоценный камень», образуется путем добавления точки к иероглифу «ван», то есть «повелитель», «владыка». Понятие «драгоценность», таким образом, графически выражалось как «шарик», принадлежащий повелителю».

Недостаток земли поневоле заставляет японцев становиться пахарями моря. Не случайно, кроме слова «рыболовство», у них бытует и более широкое понятие: «добыча морепродуктов». Жемчуговодство лишь одно из ветвей этой отрасли японской экономики.

Главное действующее лицо в жемчуговодстве теперь не нырятьщица, а оператор, совершающий над раковиной таинство зарождения драгоценного перла. Впрочем, в таинстве этом нет ничего потайного. Есть лишь чудо виртуозного мастерства, повторенное пятьсот миллионов раз в год. Есть лишь сплав дерзкого медицинского эксперимента и циркового трюка, поставленного на конвейер. Чтобы ежегодно получать девяносто тонн драгоценных жемчужин как будто бы из ничего, нужна, во-первых, Япония с ее природой, а во-вторых, нужны японцы с их умением создавать ценности из мелочей, вкладывая в них бездну терпения и труда.

Операторов, то есть людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска, в Японии насчитывается двенадцать тысяч (среди которых около десяти тысяч женщин). Поначалу число показалось мне небольшим. Но ведь если вдуматься — это двенадцать тысяч опытных хирургов, каждый из которых ежедневно делает по четыреста-восемьсот операций; и в то же время это двенадцать тысяч ювелиров, от которых требуется куда более филигранное мастерство, чем от умельцев, оправаляющих готовые жемчужины в золото и серебро.

Операционный цех: продолговатая постройка, стены которой сплошь застеклены, как у дачной веранды. Такие оконные переплеты бывают в Японии лишь у школ. Меня привели туда и сказали:

— Смотрите, спрашивайте, а потом попробуйте сделать все сами. Тогда лучше поймете, что к чему. Жертвуем вам сто раковин. Выживет хоть пара — сделаете из них запонки.

Внутри операционная похожа на светлый школьный класс, точнее, даже на университетскую лабораторию, где все студенты делают один и тот же опыт. По обе стороны от прохода, словно парты, расставлены деревянные столы. Женщины сидят поодиночке. Перед каждой из них — лоток с раковинами, зажим, коробки с ядрышками разных размеров, набор хирургических инструментов, смоченный морской водой брусок с присадками.

Чтобы ядрышко стало жемчужиной, надо ввести его именно в то место, где моллюск терпел бы внутри себя этот посторонний предмет. Надо добиться еще и того, чтобы раковина впредь откладывала перламутр не на своих створках, а именно вокруг этого инородного тела. Вот почему приходится делать нечто похожее на привив-

ку плодовых деревьев — вводить вслед за ядром кусочек живой ткани от другого моллюска.

В объяснениях, которые я слышу, нет ничего непонятного. Надо ввести ядро и присадку в нужное место. При этом нельзя ни повредить, ни задеть внутренних органов моллюска. В первом случае устрица погибнет, во втором — жемчужина не будет иметь правильной формы. И наконец, присадка должна непременно касаться ядра, иначе ее клетки, вырабатывающие перламутр, не смогут образовать вокруг ядра «жемчужный мешок».

После всех этих разъяснений и указаний еще большим волшебством представляется работа операторов. Зонд и скальпель мелькают у операторов, как вязальные спицы.

Но вот приходит черед испробовать все самому. Беру раковину, закрепляю ее на зажиме. Вместо деревянного клинышка вставляю пружинистый распор. Створки, обращенные ко мне своими краями, раскрыты меньше чем на сантиметр — в этой щелке и надо манипулировать.

Левой рукой беру зонд, похожий на вязальный крючок, и оттягиваю им «ногу» — темный присосок, с помощью которого моллюск передвигается по камням. Беру в правую руку скальпель и делаю разрез вдоль границы темной и мутно-серой массы, то есть несколько выше основания «ноги».

Теперь надо перевернуть скальпель другим, раздвоенным концом, наколоть на эту крохотную вилку кусочек присадочной ткани и сквозь надрез ввести его в тело моллюска. Потом таким же движением за присадкой вводится ядро.

Впрочем, до этого завершающего этапа я добираюсь не скоро. Задерживает самая распространенная среди новичков ошибка. Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются. Это значит, поврежден соединительный мускул и устрица обречена на гибель...

Встав из-за стола совершенно разбитым, я убедился, что оперировать раковину без подготовки — все равно что вырезать самому себе аппендикс, добросовестно выслушав объяснения врача, как это делается. И когда мне рассказали, что подготовка операторов похожа не столько на

краткосрочные курсы, сколько на многолетний университет, это целиком совпало с моим личным опытом.

Девушек обычно набирают к весне. За первые месяцы они должны выучиться только заготавливать присадки, чтобы снабжать ими операторов в разгар сезона. С осени новички начинают тренироваться на бракованных раковинах.

В конце каждого дня инструктор вскрывает всех оперированных моллюсков, чтобы проверить, правильно ли были введены в них ядра, и объясняет причины ошибок. Потом ставить оценку предоставляют уже самой природе. Раковины возвращают в море и через две недели подсчитывают число погибших. Если выжило шестьдесят-семьдесят процентов акая, значит человек уже приобрел необходимый навык.

Считается, что нужно сделать, по крайней мере, десять тысяч операций, чтобы научиться вводить хотя бы мелкие ядрышки. Вводить же крупные доверяют лишь операторам, имеющим более чем трехлетний стаж.

В каждую сетку вместе с оперированными раковинами обязательно кладется керамическая плитка с номером. По нему в специальной книге можно точно определить, кто именно оперировал данную партию жемчужин, когда и какие ядра в них были введены. Ведь мастерство можно в полной мере оценить лишь в период сбора урожая. Мелкий жемчуг (диаметром от четырех до шести миллиметров) вызревает за год, средний (шесть-семь миллиметров) — за два года, крупный (свыше семи миллиметров) — за три.

Конечно, чем крупнее ядро, тем более дорогую жемчужину можно из него вырастить. Существует, однако, известный биологический предел, за которым даже при самой искусной операции организм раковины не может сохранить внутри себя столь большое инородное тело. Для акая таким пределом является ядро диаметром в семь миллиметров. Чтобы стать жемчужиной, оно должно обрасти перламутровым слоем толщиной не менее миллиметра. Поэтому наиболее распространенным размером крупного жемчуга является девятимиллиметровый. Дальше каждая десятая доля миллиметра дает очень существенную прибавку в цене.

Опыт показал, что держать семимиллиметровое ядро в организме моллюска дольше трех лет нецелесообразно,

Возрастает вероятность всякого рода наростов. Жемчужина если и растет, то становится все менее лучистой. Учащается опасность отторжения, когда моллюск даже ценой собственной гибели выталкивает это разросшееся инородное тело из себя.

Из сотни раковин, которые были положены в проводочную сетку под моим именем, через два года уцелели одиннадцать. Причем девять из них совершенно не соответствовали стандартам, и лишь две голубые, неправильной формы, имели незначительную коммерческую ценность. Что ж, предсказание сбылось: я действительно вырастил себе лишь пару жемчужин на запонки!



Над загадкой рождения жемчуга люди задумывались очень давно. Есть персидская легенда о дождевой капле, которая своим смиренным растрогала океан. Расставшись с тучей вдали от берегов, над которыми она родилась, эта первая капля взглянула вниз и воскликнула:

— Как короток мой век в сравнении с вечностью! И как ничтожна я в сравнении с безбрежным океаном!

— В твоей скромности большая мудрость, — ответил океан. — Я сохраню тебя, дождевая капля. Я даже сберегу таящийся в тебе блеск радуги. Ты будешь самым драгоценным из сокровищ. Ты будешь повелевать миром, и даже больше: ты будешь повелевать женщиной.

Китайцы не сочиняли сказок о том, как рождаются перлы, зато именно они первыми в мире практически взялись за их выращивание. Еще в VIII веке жители провинции Чжэцзян вставляли под створки больших пресноводных раковин плоские изображения Будды. Эти фигурки обволакивались слоем перламутра и становились жемчужными барельефами. Такие изделия продавались потом как божественные реликвии.

Через множество легенд, сложенных разными народами, проходит мысль о некой таинственной связи между жемчугом и его владельцем. Предания гласят, что знатоки тибетской медицины по одному лишь изменению блеска жемчужных украшений могли предсказывать смерть могущественных повелителей задолго до того, как те сами узнавали о своем недуге.

Люди давно замечали, что жемчуг тускнеет, как бы умирает, если его не носить, что ему необходимы близость и тепло человеческого тела. Мудрецы Древней Индии знали способ оживлять тусклые жемчужины, давая склеивать их петухам с яркими, радужными хвостами. Через два часа такого петуха резали и извлекали из его желудка воскресший перл. Дело здесь, конечно, не в радужных перьях, а в том, что желудочный сок, растворяя верхние слои, глущал блеск жемчужины.

Заливы полуострова Сима встречают рассвет мягкими переливами радужных красок — тех самых, которыми славится жемчуг. Кажется, черпай ковшом и отливай по капле драгоценные перлы. Не это ли серебристо-розовое сияние вбирают в себя раковины на подводных плантациях?

Почти всюду гладь заливов заштрихована темными полосами. Плоты из жердей, к которым под водой привязаны корзины с раковинами, напоминают борозды рисовых полей. Да, человек сумел возделывать даже залитые морем долины. Зато нивы эти требуют куда больше ухода, чем трудоемкий рис. На зеленых боках гор, обступивших залив, тут и там пестреют рыжие рубцы. Это жемчужные промыслы. Каждый из них похож на маленькую пристань. Тесная площадка, вырубленная в береговой круче. Домик, где трудятся операторы. Вокруг сложены жерди и бочки для илов, проволочные корзины.

Круглый год не прекращается здесь работа, особенно напряженная в ненастье. Люди холят, пестуют, лелеют самое прихотливое из прирученных человеком живых существ — даже более капризное, чем шелковичный червь.

Сколько забот требует этот слизняк, обитающий в грязно-бурой, невзрачной на вид ракушке! Ему нравятся только самые живописные места, словно для того, чтобы воплотить в жемчужине красоту окружающей природы. Аюя любит тихие, спокойные заливы с песчаным дном, куда не заходил бы прибой, где не могли бы буйствовать тайфуны.

Однако неподвижные, застойные воды ему не по нраву. Аюя любит, чтобы впадающая где-то поблизости река смягчала соленость моря и создавала постоянный приток свежей пищи — планктона.

Проволочные корзины защитили жемчужниц от их давних врагов: угрей, осьминогов, морских звезд, омаров. Однако они же породили нужду в «прополке». На проволочную сетку да и на створки самих раковин быстро налипают всякая морская живность. Водоросли, губки, мелкие моллюски затрудняют доступ воды и планктона, мешают питанию и росту аюя. Поэтому четыре-пять раз за сезон корзины вынимают из воды и тщательно очищают каждую раковину от приросших к ней паразитов.

С раннего утра до позднего вечера кочует от плота к плоту маленький паром с навесом. Женщины в резиновых фартуках, сапогах и перчатках скребут кривыми но-

жами и металлическими щетками раковину за раковиной. Звучит тихая песня. Готова одна корзина — на смену ей тут же появляется другая.

Это очень утомительное, трудоемкое дело. За день человек успевает очистить около тысячи раковин. «Прополка» продолжается непрерывно с апреля до ноября. Весной и осенью у работниц коченеют руки. Летом донимает зной.

— Хорошо хоть, что вам тут сделали навес, — сказал я поденщицам.

— Разве о нас забота? — усмехнулась одна из них. — Это слизняк не любит солнечных лучей.

Акоя очень чувствителен к изменениям температуры и солености воды. Стоит разразиться ливню, подуть холодному ветру, как люди кидаются к плотам, чтобы опустить корзины поглубже ко дну.

Хорошо поставленная служба погоды, умение чутко реагировать на ее внезапные перемены — для жемчужных промыслов первейшее дело. Здесь, словно на санаторном пляже, повсюду видишь щиты, на которых трижды в день аккуратно выписываются температура воздуха и воды, сила и направление ветра.

Акоя любит именно такое же море, в каком приятнее всего купаться человеку. Ниже пятнадцати градусов — для моллюска слишком холодно, выше двадцати восьми — слишком жарко. В обоих случаях он становится вялым, теряет аппетит и значительно менее старательно обволакивает сидящее в нем ядрышко перламутровыми слоями. В знойную августовскую пору плоты приходится отводить дальше от берегов и опускать корзины в более глубокие, прохладные слои.

Куда сложнее, однако, уберечь раковины от холода. При двенадцати градусах у моллюсков резко замедляются все жизненные процессы, при восьми они погибают. Поэтому, чтобы не рисковать жемчужницами, их перевозят на зиму в теплые края.

Патент, выданный Микимото в 1907 году, предоставил ему право монополично заниматься выращиванием перлов на двадцать лет. После истечения этого срока на полуострове Сима возникло множество новых жемчужных промыслов, главным образом мелких, основанных на семейном труде.

Но где такому предпринимателю припасти денег на жерди для плотов, на проволочные корзины для раковин, на ядра и инструменты для операторов, наконец, на покупку самих аюя-трехлеток? Все приходится втридорога брать в кредит у крупных фирм с обязательством расплатиться лучшей частью будущего урожая.

Когда видишь, какой мертвой хваткой держат мелких предпринимателей «жемчужные короли», поневоле задаешься вопросом: как они до сих пор вообще не придушили своих многочисленных и слабых конкурентов и не монополизировали жемчуговодство целиком в своих руках?

Ответ может быть только один. Промыслы, основанные на семейном труде, существуют донныне лишь потому, что это выгодно крупным фирмам. Японский капиталист всегда считает за благо для себя иметь как можно больше дочерних предприятий. Во-первых, благодаря этому рабочая сила остается раздробленной (а стало быть, не могут быть многочисленными профсоюзы), а во-вторых, за счет таких зависимых подрядчиков можно наживаться на дешевом труде.

Подобная черта присуща в Японии даже современному заводу, с конвейера которого сходят автомашины или телевизоры. А поскольку технология выращивания жемчуга на крупном и на мелком промысле совершенно одинакова, эксплуатировать зависимых поставщиков особенно просто.

Это заметнее всего на завершающих стадиях жемчуговодства. Готовая продукция идет на экспорт главным образом в виде ожерелий. А здесь прежде всего ценится подбор. Чтобы хорошо подобрать нитку из пятидесяти жемчужин, нужно, по крайней мере, в пятьдесят раз больше перлов той же лучистости, формы и оттенка.

Семейным промыслам заниматься этим не под силу. Они могут сбывать свои урожаи лишь за полцены: в виде рассыпного жемчуга, примерно рассортированного по величине и цвету. Добавляя к собственному лучший жемчуг сотен семейных промыслов, крупные фирмы наживаются не только за счет высококачественного подбора ожерелий, но и за счет своей сложившейся репутации на мировом рынке.

Выручка от экспорта возвращенного жемчуга в пятьдесят с лишним раз превышает доходы людей, непосред-

ственно занятых в жемчуговодстве. Стало быть, труд, вложенный в целое ожерелье, оплачивается ценой лишь одной из его жемчужин. Вот эти ожерелья красуются в роскошных витринах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима. Если бы, как в сказке о наряде принцессы, каждая жемчужина могла поведать о том, чего стоило людям ее рождение! Рассказать о хлопотах, с какими из крохотной личинки, прилепившейся к сосновой хвое, вырастили раковину-трехлетку; о том, как бережно готовили ее к операции, как ухаживали за ней последующие три года. Ведь только ради «прополки» раковина побывала в человеческих руках полтора десятка раз!

Если бы она могла рассказать о трехкратном переселении в теплые края и о последнем, самом приятном из путешествий — когда буксир медленно тянет по морю караваны плотов с опущенными корзинами и моллюски получают самое обильное и разнообразное питание, чтобы наружный, завершающий слой перламутра был наиболее лучист и ярк.

Французы говорят:

— Как прекрасен был бы человек, если бы он совершенствовал самого себя так же вдохновенно и упорно, как виноградную лозу!

Взращенный жемчуг — это одаренность умельца и мастерство хирурга, это упрямая стойкость крестьянина и терпеливая целеустремленность селекционера.

Клеопатра хотела когда-то прославиться тем, что растворила жемчужину в кубке с вином и выпила его. Но куда более достойна славы история о том, как человек раскрыл секрет рождения жемчужины; как он приручил и заставил служить себе одно из капризнейших живых существ!

Ежегодный урожай подводных плантаций — девяносто тонн драгоценного жемчуга — олицетворяет умение японцев находчиво возмещать скудость недр своей страны. Так же как крохотный транзисторный приемник или карманный телевизор, взращенный жемчуг — это, по существу, не что иное, как овеществленный труд и разум.

Когда я впервые увидел горы и воды полуострова Сима, я подумал о жемчужинах как о перлах природной красоты. Мне казалось, что раковины вбирают в себя здесь неповторимую прелесть породнения моря и суши, бесчисленных зеленых островов, тихих лагун, лазурных небес.

Но чем ближе знакомишься с участием людских рук в рождении жемчужины, тем яснее видишь в ней воплощение красоты и творческой силы человеческого труда. Есть выражение: «перлы премудрости». Вращенный жемчуг можно в самом прямом и высоком смысле этих слов назвать «перлом труда».



Для человека, который никогда не бывал в Японии, она обычно представляется сказочной страной красочно одетых женщин, загадочных храмов, живописных восточных пейзажей. Тут потрудились и туристские бюро, и Голливуд, все любители расписывать экзотику. К тому же Япония действительно экзотична, действительно загадочна и действительно живописна. И все-таки это не только «открыточная страна».

Подлинная Япония — это бессчетные часы, а иногда и десятилетия тяжелого труда, нужного, чтобы японский сад выглядел воплощением простоты. Это холод, от которого зимой содрогаются обитатели картинных японских жилищ. Это обреченность всю жизнь есть рис и соленые овощи. Это крестьяне, которые из года в год гнут спины на полях и не могут потом распрячиться, доживая свой век сгорбленными карикатурами на человеческие существа. Это студенты, стоящие в очереди, чтобы продать собственную кровь и купить себе книги.

Б. Мэнт, Турист и подлинная Япония. Токио, 1963



Миллион миллионеров

Если бы из всех присущих японцам черт потребовалось назвать одну, наиболее приметную, вернее всего было бы сказать: они много читают, многим интересуются.

В давке метро, за раздвижными стенами сельского домика — всюду видишь людей за чтением. По тиражам печатной продукции Япония уступает лишь Советскому Союзу и Соединенным Штатам. Стомиллионный народ ежегодно раскупает около полумиллиарда книг и более полутора миллиардов журналов (одних лишь ежемесячников выходит почти полторы тысячи).

Общий разовый тираж японских газет перешагнул за пятьдесят миллионов экземпляров, также приближаясь к мировому первенству. Причем здесь надо отметить любопытную особенность. В капиталистической прессе принято делить газеты на «качественные» и «массовые». Первые из них, то есть самые солидные, авторитетные, влиятельные, вроде «Таймс» в Англии, «Монд» во Франции, «Нью-Йорк таймс» в США, имеют куда более узкий круг читателей, чем бульварные издания, выходящие многомиллионными тиражами.

В Японии же именно «качественные» газеты («Асахи», «Майнити», «Иомиури») одновременно являются и «массовыми», то есть наиболее популярными. Дело здесь, разумеется, не в издателях, а в читателях — в уровне их запросов, которые приходится брать в расчет.

Про японцев можно сказать, что народ этот интеллигентен в массе. Причина тут не в одной лишь поголовной грамотности. Кругозор японца — не только начитанность, но и умение людей в любом возрасте сохранять поистине детскую любознательность. На всякого рода курсы, выставки, лекции валом валят и молодежь и старики. «Общество рабочих — любителей музыки» — многотысячная организация, численности которой могут позавидовать иные политические партии.

Причем широта интересов, прорывающая рутину повседневной жизни, страсть к постижению непознанного чаще всего столь же бескорыстны, как присущая японцам тяга к красоте. Люди не разучились ставить духовные ценности превыше материальных благ.

Было бы нетрудно, набрав десятков-другой примеров, нарисовать разительную картину американизации духовной жизни Японии. Присущая японцам восприимчивость к новому проявляется и в том, что они легко поддаются зарубежной моде. Но, широко растекаясь по поверхности, голливудские стандарты вкуса остаются «детской болезнью», неспособной изменить сущность национального характера.

Юный житель Токио, увлекающийся очередным поветрием вроде электрогитар, не станет читать переложения «Войны и мира» на пятидесяти страницах. Он примет стандартизацию мод, но инстинктивно противится стандартизации мыслей и чувств. Среди японской печатной продукции есть немало бульварщины, но «дайджесты» здесь не в почете.

Услышав, что японским студентам нередко приходится продавать собственную кровь, чтобы заплатить за учебники, заезжий американец удивляется: «Как можно идти на такие жертвы ради диплома?»

Автофургоны со скупщиками крови, которые поджидают свою клиентуру за университетскими воротами, — это ли не двойной символ — и того, сколь велика у японской молодежи тяга к науке, и того, сколь дорогой ценой приходится за нее платить?

— Знаете, как мы теперь называем свидетельство об окончании вуза? «Диплом миллионера». Ведь чтобы получить его, надо выложить из кармана миллион иен. Как видите, Японии есть чем гордиться: ее студенчество — это миллион миллионеров...

Шутка, услышанная как-то на университетском вечере, напомнила о горьком парадоксе культурного, высоко развитого капиталистического государства. Частные вузы Японии, в которых обучается миллион человек (то есть три четверти всей высшей школы страны), вынуждены существовать почти целиком за счет студентов, получая из государственного бюджета в двадцать раз меньше, чем приходится брать с молодежи (за последние пятнадцать лет плата за обучение в частных вузах возросла в шесть раз).

С новоиспеченного первокурсника берут вступительный взнос в двести-триста тысяч иен (почти полугодовая зарплата для выпускника средней школы). Чем больше практических занятий требует специальность, тем дороже плата. Так что в технических вузах она выше, чем в гуманитарных, а в медицинских достигает шестисот тысяч иен (зато, острят студенты, если провалишься на экзаменах, можно с горя купить автомашину).

А ведь вступительным взносом дело не ограничивается. Кроме него, надо и в последующие годы платить за обучение, за пользование библиотеками, лабораториями. Словом, пятилетний курс наук обходится больше миллиона. Даже став обладателем желанного диплома, молодой специалист обычно зарабатывает меньше, чем ему обходятся студенческие годы.

С тех, кому удалось попасть в государственные вузы, за обучение берут в несколько раз меньше. Но и им волей-неволей приходится становиться «миллионерами». Быть принятым — значит получить право посещать лек-

ции и сдавать экзамены. А уж где жить, на что питаться — студент должен заботиться сам.

Так называемая Ассоциация по выдаче стипендий (фонд, созданный на общественные и личные пожертвования), по существу, представляет собой ссудную кассу. Даже ничтожное пособие (его едва хватает на сезонный билет), которым эта ассоциация обеспечивает четверть вузовской молодежи, каждый выпускник обязан потом полностью выплатить назад. Так что, покидая университет, молодой специалист, кроме «диплома миллионера», зачастую уносит с собой еще и долг в четыре-шесть будущих зарплат.

Одно из самых ходких в университетской среде слово «арбайто», занесенное из немецкого языка еще в довоенные времена, означает не работу вообще, а именно приработок на стороне, без которого не мыслится студенческая жизнь.

Для абсолютного большинства японской молодежи учиться — значит одновременно подрабатывать себе на жизнь. Различие может быть лишь в том, что для одних «арбайто» — это дополнение к помощи родителей, а для других — единственный источник средств к существованию.

Самый старый, можно сказать, классический вид «арбайто» — быть репетитором. Спрос на них в Японии есть всегда. Чтобы поступить после девятилетки в среднюю школу второй ступени, надо пройти по конкурсу, и родители заблаговременно нанимают студентов готовить детей к экзаменам.

Правда, одним репетиторством, даже если давать уроки ежедневно, теперь не проживешь. Кроме основной «арбайто», приходится подыскивать еще и другие. Парни покрепче нанимаются заталкивать пассажиров в вагоны метро и электрички. Работа тяжелая, но студенческий юмор уподобляет ее физзарядке: «пик» приходится на утренние часы и длится сравнительно недолго.

Когда начинается пора экзаменов, в Токио можно увидеть странные вещи. Грузчики на причале спорят о теории относительности. Судомойка в закуской, улучив свободную минутку, перелистывает учебник анатомии. Долговязый парень в цилиндре, таскающий ночью рекламный плакат какого-то сомнительного заведения, при свете неоновых реклам читает «Международное право».

Чем только не приходится заниматься будущим юристам, инженерам, врачам! Они моют автомашины на заправочных станциях, упаковывают товары в магазинах, обходят дома, разыскивая неплательщиков по счетам за воду или газ.

Трудно бывает в пору экзаменов, когда для «арбайто» не остается времени. Трудно в апреле и октябре, когда, кроме текущих расходов, надо вносить полугодовую плату за обучение. Однако для студента, который сам себе зарабатывает на жизнь, нет ничего хуже, чем заболеть. Не говоря уже о дороговизне лечения, это попросту грозит голодом, если друзья не помогут.

Далеко не всякий организм выдерживает перенапряжение умственных и физических сил, с которым связаны для японца университетские годы. Самое печальное, что многие узнают об этом слишком поздно.

Миллион студенческих лиц — сколько самопожертвования, даже героизма требует их трудноутолимая жажда знаний! Япония вправе гордиться этим. Но необходимы ли подобные жертвы? Неужто и впрямь в стране нельзя изыскать средств, чтобы помочь молодежи, поддержать ее порыв?

Перед Новым годом японский студент нанимается в универмаг разносчиком праздничных покупок. Сумму, которую он с превеликим трудом заработает за трехнедельные каникулы, любой делец пускает на ветер за час, проведенный в баре на Гиндзе.

По официальным данным налогового управления, частные корпорации ежегодно расходуют на «представительство» или на так называемые «деловые кутежи» шестьсот миллиардов иен. Фирмачи, которые списывают друг на друга расходы по принципу «сегодня угощаю я, завтра — ты», дают почти две трети оборота всех японских ресторанов, баров и других заведений, где едят и пьют.

Чем же объяснить такое расточительство со стороны, капиталистических предприятий, которые отлично знают счет деньгам и зря не потратят ни иены? Ответ прост, хотя и циничен: лучше промотать, чем отдать государству. Деньги, которые облагались бы налогом как прибыль, под видом умышленно раздутых представительских расходов включаются в издержки производства.

Так транжируются баснословные средства — больше половины суммы, которая взимается с корпораций в государственный бюджет.

Еще пятьсот сорок миллиардов иен в год (больше, чем Франция и Италия, вместо взятые) тратит Япония на восхваление капиталистического благоденствия, то есть на коммерческую рекламу.

В обществе, где ради коммерции можно прокутить шестьсот миллиардов да еще пятьсот сорок сжечь в неоновом пожарище, не находится шестидесяти миллиардов иен, чтобы освободить студенчество от изнурительных поисков побочного заработка.

Не служит ли сам подобный факт достаточно впечатляющей рекламой капиталистического строя? Когда сопоставляешь приведенные цифры, перед глазами встает образ японского юноши, который отдает за книгу несколько монет, только что полученных за стакан собственной крови.



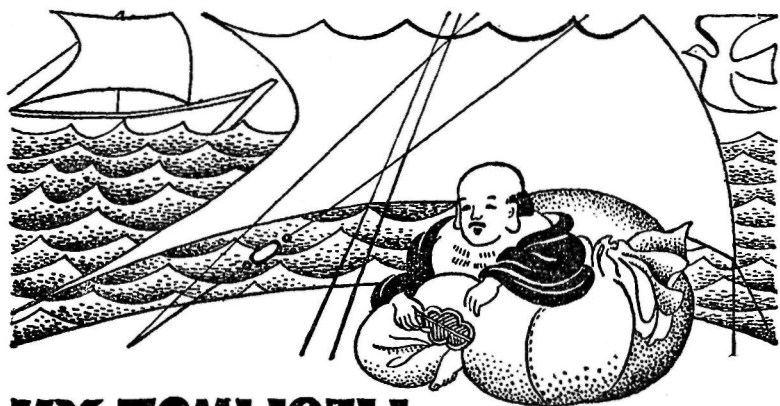
Что касается до народного просвещения в Японии, то, сравнивая массою один целый народ с другим, японцы, по моему мнению, суть самый просвещенный народ во всей подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не умел читать и писать,

«Записки капитана В. М. Головина в плену японцев
в 1811, 1812, 1813 годах»



Кому хоть мимоходом случалось побывать в Стране восходящего солнца, тому, без сомнения, не могла не броситься в глаза поголовная грамотность ее обитателей и обилие школ, рассеянных по всему лицу японской земли. Даже рикши поражают иностранца знанием недоступных для него тайн мудреной японской письменности.

Д. Шнейдер, Япония и японцы. Спб., 1895



ИХ ПОМЫСЛЫ

Купите счастливым сон

Рассекая тихоокеанскую волну, корабль мчался к японским берегам. Его квадратный парус казался алым от заходящего солнца, за которым он настойчиво гнался.

Семеро на борту парусника очень спешили. Но ветер народной фантазии, как всегда, доставил их к сроку — когда гулкие раскаты старых бронзовых колоколов начали отбивать новогоднюю полночь.

Япония замерла, отсчитывая эти сто восемь ударов. Ведь Новый год тут не просто праздник из праздников, а как бы общий для всего народа день рождения. У японцев до недавнего времени не было обычая праздновать дату своего появления на свет. Сто восьмой удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенца, родившегося накануне, наутро считают годовалым.

В новогоднюю полночь человек становится на год старше и к тому же переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Двери жилищ принято украшать в эту пору ветвями сосны, бамбука и сливы. Сосна олицетворяет для японцев долголетие, бамбук — стойкость, а расцветающая в разгар зимы слива — жизнерадостность среди невзгод.

К этим общим пожеланиям каждый вправе добавлять

свои личные надежды. Вот почему в канун праздника по всей Японии бойко раскупаются картинки с изображением сказочного парусника. Их кладут под подушку, чтобы увидеть в новогоднюю ночь самый желанный сон: семь богов счастья на Драгоценном корабле. Сон же этот предвещает человеку исполнение его самой заветной мечты.

Итак, парусник мчался к японским берегам. Человек непосвященный заметил бы на борту трех толстяков, двух старцев, воина и женщину. Однако каждый из семерых вполне заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Бога удачи Эбису сразу отличишь от двух других толстяков по удилишу в руке и окуню под мышкой. Иным и не может быть бог удачи в стране, где все жители заядлые рыболовы и даже сам император пристрастен к рыбалке. За помощью к Эбису обращаются те, кому, помимо снасти и снаровки, требуется еще и везение: рыбаки, мореходы, торговцы. Изображение толстяка с удочкой найдешь почти в каждой лавке. Эбису, однако, вместе с удачей олицетворяет еще и честность. Так что один день в году торговцы обязаны пускать товары в полцены, как бы извиняясь за полученные сверх меры барыши.

Может быть, именно поэтому в деловом мире больше, чем Эбису, уважают Дайкоку — дородного деревенского бородача, восседающего на куле с рисом. Когда-то его почитали лишь крестьяне как бога плодородия, способного вознаградить за труд урожаем сам-сто. Но с тех пор как в руках у бородача оказался короткий деревянный молоток, Дайкоку стал к тому же покровителем всех тех, кому требуется искусство выколачивать деньги: торговцев, биржевиков, банкиров; словом, из бога плодородия превратился в бога наживы.

Наконец, третий толстяк — улыбчивый и круглолицый бог судьбы Хотэй. Его приметы: бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже непутевого, что при его служебном положении довольно рискованно, ибо не кто иной, как Хотэй, таскает за спиной большущий мешок с людскими судьбами. Богу судьбы поклоняются прорицатели и гадалки, а также политики и повара (те и другие иной раз заварят такое, что сами не ведают, что у них получится).

Впрочем, как торговцы вывешивают в лавке Эбису,

чтобы убедить покупателей в своей честности (хотя сами бьют челом богу наживы Дайкоку), так и политики вместо Хотэя любят публично называть своим кумиром бога мудрости Дзюродзина.

Это ученого вида старец с длиннейшей бородой, который держит в руке еще более длинный свиток знания, то и дело дополняя его. Трудится он в поте лица, ибо человечество теперь чуть ли не каждые восемь лет удваивает объем познанного. Дзюродзин слывет к тому же любителем выпивки и женщин, без чего он попросту не был бы достаточно мудрым в понимании японцев. Философы, судьи, изобретатели, учителя, журналисты, как и упоминавшиеся уже политики, считают Дзюродзина своим покровителем.

Бог долголетия Фуку-року-дзю — это маленький лысый старичок с непомерно высоким лбом (считается, что с годами череп вытягивается в длину). Его неразлучные спутники — журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости бог долголетия отличается тихим нравом, он любит играть в шахматы и считает превеликой добродетелью умение зрителей молча следить за чужой партией. Таких людей встречается, впрочем, так же мало, как достойных бессмертия, которое он может даровать. В силу личного пристрастия бог долголетия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников — людей труда тихого, имеющего отношение ко времени настоящего, прошедшему или будущему.

Обняком стоит на палубе Бишамон — рослый воин с секирой, в шлеме и доспехах, на которых написано: «Верность, долг, честь». Бишамон не любит, когда его называют богом войны, доказывая, что он не воитель, а страж, отчего и наречен покровителем полицейских и лекарей (военных, кстати, тоже).

И наконец, единственная женщина в обществе семи богов — это покровительница искусств Бентен со своей неизменной лютней в руках. Девушки, игравшие на такой лютне, не решались выходить замуж, боясь, что разгневанная богиня лишит их музыкального дара. Бентен действительно не в меру ревнива — к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям — что, впрочем, отличает служителей искусства отнюдь не только в Японии.

С какими же мыслями хотели японцы увидеть в новогоднюю ночь этих семерых на Драгоценном корабле?

Самая, казалось бы, бесхитростная мечта была у мальчугана из горного селения к префектуре Иватэ. Ему хотелось, чтобы на праздники домой непременно вернулся отец и помог ему сделать большущего новогоднего змея с лицом сёгуна Иеясу.

Отец еще с жатвы уехал в Токио на какую-то стройку. Мальчугана послали на почту получить от него очередной перевод, а заодно узнать, ходят ли автобусы после вчерашней метели. На беду оказалось, что из-за заносов сообщение опять прервано. Шагая назад по глубокому снегу, мальчуган думал: почему бы отцу не проложить через здешние горы такую же диковинную дорогу на столбах, какую он строит над токийскими улицами?

Дома мать с бабкой смотрели по телевизору новогодний концерт. На экране отплясывали девицы в немыслимо коротких юбочках. И тут, как всегда, начались сетования, что вот хоть и нет войны, а жить приходится как солдатке; что муж больше в отходе, чем дома, а в городе, мол, на каждом шагу соблазн.

Но не только крестьянки занесенного снегами северо-востока хмурились при виде мини-юбок на телевизионном экране. С таким же враждебным чувством смотрел на них и глава ассоциации торговцев жемчугом.

— Всему виной эта нелепая мода, этот подростковый стиль, это поветрие на все броское. Третью возвращенных жемчужин не находят сбыта. Приходится свертывать промыслы. Не заставишь же раковины вместо благородных перлов плодить какие-нибудь светящиеся шарики для серег величиной с голубиное яйцо! Если уж чего и желать в Новом году, так чтобы у японок вновь пробудилось их врожденное чувство меры и художественного вкуса...

Торговец жемчугом был несправедлив, огульно обвиняя своих соотечественниц в забвении национальных традиций, в том, что у молодого поколения притупилась присущая народу тяга к прекрасному.

Если бы он мог видеть тех самых девушек, руками которых был собран стоящий перед ним цветной телевизор! Неделю назад начальник сборочного цеха не узнал своих работниц, когда они повязали головы красными лентами, остановили конвейер и завели речь о прибавке наградных в таких повелительных выражениях, которые на японском языке прямо-таки немыслимы в устах женщин.

Но он тем более не узнал бы их в новогодний вечер. В комнате заводского общежития, украшенной ветками сосны, бамбука и сливы, чинно сидели кружком ожившие красавицы с картин Утамаро. Пусть не черепаховые, а пластмассовые гребни украшали их сложные прически; пусть узорные праздничные кимоно были не из тканного вручную шелка, а из нейлона. В каждом жесте молодых японок была та же изысканная женственность, которую прославил когда-то великий художник.

На первый взгляд могло показаться, что в руках у девушек две колоды карт. Но это были не просто карты. Рабочее общежитие состязалось в знании древней поэзии. Семьсот лет назад были отобраны сто лучших стихов ста лучших поэтов за семьсот предыдущих лет. Они обрели такую популярность, что доньше остались у молодежи темой излюбленной новогодней игры. На одной колоде из ста карт целиком напечатано каждое четверостишие, имя и портрет поэта; на другой, которая раскладывается на столе, лишь завершающие строфы. Выигрывает тот, кто, услышав начало стиха, первым найдет и прочтет его окончание.

Еще сто лет назад игра в сто четверостиший была единственным случаем, когда юношам и девушкам приличествовало находиться вместе. Нынче таких возможностей куда больше. Однако картину с Драгоценным кораблем все же положила себе под подушку каждая обитательница рабочего общежития. И хотя девичьи мечты легко угадать, ибо они очень схожи во все века и у всех народов, рассказывать о них было бы нескромно.

А поэтому обратим лучше взгляд на ту из подруг, которая год назад встречала праздник в общежитии, а миновавшим летом вышла замуж.

Молодая пара, о которой пойдет речь, медленно двигалась по тротуару в потоке гуляющих. Гиндза сверкала в новогодний вечер куда ярче своего старинного имени. Даже слова «Семицветный ряд» были бы слишком тусклыми для этого безумства огней. Одни витрины являли собой бездну вкуса, другие — бездну безвкусицы. Но все вместе взятое рождало ощущение неизъяснимой, но несомненной красоты.

Молодожены шли, искренне восхищенные неоновым сиянием. Оба они редко бывали здесь с тех пор, как

сняли комнатку на окраине, в полутора часах езды на электричке.

Возле прозрачной цилиндрической башни все останавливались, чтобы посмотреть, какими огнями светится ее вершина: сочетание цветов менялось в зависимости от завтрашней погоды. Но всегда неизменно горели среди них три красных ромба, которые видятся в Японии чаще, чем хризантема с шестнадцатью лепестками — официальный герб императорского двора. Эмблема «Мицубиси» словно давала понять, что именно эти три красных ромба делают погоду в стране.

Молодой муж с увлечением рассказывал, чем объясняется странная конструкция здания без этажей, с полом, спускающимся по спирали. Башня из стекла и металла построена на самом дорогом в Японии куске земли. Участок на перекрестке двух оживленнейших улиц Токио обошелся владельцам по миллиону триста тысяч иен за квадратный метр.

— Заплатили по миллиону триста, так хоть владеют. А мы отдаем по тысяче триста иен в месяц за циновку, с которой нас в любое время могут согнать, — грустно пошутила жена, нарушив зарок не касаться под праздник этой темы.

Дело в том, что молодая пара без гадалок и прорицателей знала, что Новый год сулит им прибавление семейства. А домовладелец, у которого они снимали комнату из четырех с половиной татами, включил в двухлетний контракт условие: пока не будет ребенка. Пугали не только поиски, но и необходимость вновь платить при въезде две месячные ставки в качестве «благодарственных», да еще четыре — как залог.

Под праздник хотелось гнать от себя заботы. Впереди было три выходных дня. Они взяли в рассрочку экскурсионный тур на остров Кюсю с заездом на вулкан Асо — место паломничества молодоженов и самоубийц.

«Пусть все будет как есть, лишь бы не стало хуже», — думала молодая женщина, покупая картину, сулящую счастливый сон.

Возле кратера вулкана Асо коротал новогоднюю ночь полицейский патруль. Один из полицейских попал сюда впервые и, как большинство людей, увидел совсем не то, что ожидал. Вместо огнедышащей горы, вместо вздувшегося нарыва перед ним была болезненная язва на теле Земли. Вокруг громоздились пепельные груды шлака. Они

напоминали лунный пейзаж. И это сходство усиливалось тем, что большие пористые глыбы были неожиданно легки — их можно было в одиночку сдвинуть, даже поднять.

Патруль у кратера был выставлен на этот раз не затем, чтобы в случае извержения сгонять экскурсантов под бетонные колпаки с надписями «Укрытие на 60 человек» (будет ли кто-нибудь тогда считать: 59-й он или 61-й?). Вулкан был безлюден. Но охранять его в новогоднюю ночь приходилось от тех, кто не хочет класть себе под подушку картинку с Драгоценным кораблем.

Взбалмошный толстяк Хотэй — бог судьбы, поступки которого настолько непредсказуемы, что заставляют ошибаться даже профессиональных гадалок, лишь перед Новым годом как бы раскрывает карты. За 365 дней у людей на улицах могут быть разные поводы радоваться или горевать, нестишь сломя голову или брести в задумчивости. Но заранее известно, что из всех пятидесяти двух недель года именно две предпраздничные оставляют наибольшее число жертв уличного движения. Никакие меры не в силах повлиять на подобную статистику, которую иногда хочется назвать мистикой.

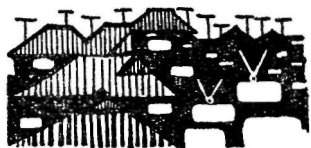
Таков уж неотвратимый рок этой лихорадочной поры. Ведь Новый год приносит не только надежды, но и заботы. Заново раскрывая в книге жизни чистую страницу, он в то же время служит порогом, за который нельзя переносить невыполненных обещаний, неоплаченных долгов. Людям приходится спешить, отчего и множится в предновогоднюю пору число катастроф как дорожных, так и жизненных.

Но вот и подошла новогодняя полночь. Затаив дыхание прислушиваются японцы к раскатистому басу бронзовых колоколов. Считается, что каждый из этих ударов изгоняет одну из ста восьми бед, которые омрачают человеческую жизнь.

Что, если это было бы действительно так! Удар — и колючая проволока американских военных баз превращается в ветки зацветающей сливы. Удар — и хищные силуэты «фантомов» уступают японское небо белокрылым журавлям, символизирующим покой и долгую жизнь. Удар — и вместо американских атомных подводных лодок у берегов Японии появляется Драгоценный корабль с семью богами счастья...

Каких только чудес не сотворила бы тогда в Японии народная фантазия! Глядь — с каким-то из ста восьми ударов господам капиталистам пришло бы в голову хоть на десятую часть сократить «деловые кутежи»: тогда можно было бы освободить от платы за обучение всех студентов страны. Ну, а если бы со следующим ударом колокола бизнесмены образумились вовсе и порешили обходиться при сделках одним лишь чаем, то на сбереженные шестьсот миллиардов иен можно было бы обеспечить жильем семьсот пятьдесят тысяч семей, то есть ежегодно делать счастливыми три четверти молодоженов.

Если бы торжественно-неторопливый звон действительно был способен изгонять из жизни японцев беду за бедой! Подобные чудеса происходят, однако, лишь в новогодних сказках...



Власть голубых теней

Эта картина, увиденная как-то под вечер из окна вагона, накрепко запала в память.

Поезд мчался по бесконечным предместьям слившихся воедино городов. Он словно взрезал собой плотный пласт человеческих жилищ. Домики теснились к самым путям. Их оконные створки были раздвинуты, как бы открывая взору жизнь в разрезе.

Час за часом стучали колеса, пронеслись мимо названия станций. А перед глазами было все то же: в густеющих сумерках голубели бесчисленные прямоугольные телевизионных экранов.

Они были вездесущи, как иконы. И порой начинало казаться, что фигуры людей перед ними молятся какому-то новому, неведомому божеству.

Зримо оживала, наводила на раздумья знакомая цифра. Число телевизоров в Японии перевалило за двадцать миллионов. Какое место занял голубой экран в жизни японской семьи? Что нового внес он своим появлением?

Спору нет, жилище обрело еще одно окно в окружающей мир. Многие в японском телевидении заслуживают доброго слова. Это прежде всего его оперативность, стремление не только рассказать о событиях дня, но и пока-

зять их. Что бы и где бы ни происходило, автомашины с телекамерами или репортерские вертолеты неизменно оказываются в числе свидетелей. Часто бывает: едва успеешь вернуться домой с какой-нибудь бурной демонстрации, а ее уже показывают на экране. Тут сказывается и техническая оснащенность, и высокая профессиональная выучка людей.

Можно согласиться с мнением японских журналистов, что по сравнению с газетами телевидение как источник новостей не только более оперативно, но и менее тенденциозно. Факт, поданный зрительно, уже тем самым становится объективнее. Ему труднее дать превратное толкование.

Беспорной похвалы заслуживают образовательные передачи, документальные телевизионные фильмы в форме лирических репортажей с мест. Владельцы студий не могут не считаться с такими чертами национального характера, как любознательность японцев, их чуткость к явлениям природы. За тем, как движется по японской земле цветение сакуры, когда ложится на вершину Фудзи первый снег, телевидение следит столь же внимательно, как за важнейшими политическими событиями.

Итак, голубой экран расширяет кругозор людей. Почему же тогда стали крылатыми слова видного публициста Сиоити Оя:

— Развитие телевидения превращает Японию в страну ста миллионов дураков...

Мысль умышленно заострена слишком резко. Но в ней звучит тревога, вызванная подоплекой этого бума, движущие силы которого лежат в стороне от положительной, прогрессивной роли современного телевидения.

Денежный мешок сразу же оценил всепроникающую силу голубого экрана, меру его воздействия на человеческие умы и сердца.

Влияние этого порой дает о себе знать совершенно неожиданным образом. Пожалуй, лишь при выборе новогодних подарков и обращаются теперь в Японии к древнему календарю, где года имеют названия двенадцати животных и пяти стихий, образуя шестидесятилетний цикл. Некогда бытовало поверье, что в год Лошади и Огня лучше не иметь детей, ибо рожденная в этом году женщина якобы сулит несчастье своему мужу и никто не станет за нее свататься.

Казалось бы: кому теперь дело до средневековых

предрассудков? А между тем статистика засвидетельствовала, что японские женщины стали даже более суеверными, чем шестьдесят лет назад. Причем не только пожилые, но и молодые; не только в сельской глуши, но и в городах. 1966 год ознаменовался в Японии самым резким после войны падением рождаемости: почти на полмиллиона младенцев, или на двадцать пять процентов, тогда как в 1906-м, то есть в предыдущем году Лошади и Огня, рождаемость снизилась лишь на четыре процента. Опрос, проведенный министерством здравоохранения, показал, что о «роковом» годе Лошади и Огня подавляющее большинство женщин впервые узнало из телевизионных передач, высмеивавших это суеверие.

Для жителя Токио предназначено около ста двадцати часов телевизионных передач в сутки. Они начинаются в шесть утра и продолжаются за полночь по семи каналам. Четыре из них принадлежат частным компаниям, которые все свое время вплоть до секунды распродают «спонсорам», или «попечителям».

К примеру, фирма, выпускающая часы, оплачивает проверку времени, кофейный трест — утренний выпуск новостей, компания по продаже лечебных препаратов — эстрадный концерт и так далее.

Закупив шестьдесят минут эфира, «попечитель» может использовать шесть из них на рекламу, наспиговав ею передачу по своему усмотрению. Вторжения эти настолько назойливы, что владелец одного из токийских отелей задумал создать свою домашнюю телестудию, чтобы соответствующей прибавкой к счету гости могли ограбить себя от рекламы.

Но главный порок коммерческого телевидения даже не в том, что вставки эти мешают смотреть. Куда опаснее, что и содержание остальных пятидесяти четырех минут за вычетом шести рекламных оказалось в зависимости от выбора «спонсоров».

Пусть даже драматург или публицист встретили на телестудии талантливых, честных прогрессивных людей, чтобы передача попала в эфир, должен найтись «попечитель», который согласился бы оплатить ее как подходящий фон для своей рекламы.

Компания, выпускающая автомобили, охотно возьмет фильм о гонках. Торговцы косметикой — сцены с балами и красавицами. Но кто заинтересуется серьезной социальной темой?

Каждая секунда рекламы на голубом экране стоит более ста долларов, то есть близко к месячному заработку квалифицированного рабочего или служащего. Ни один капиталист не станет зря швырять деньги в эфир, то есть, попросту говоря, на ветер. И если уж выкидывает, то хочет, чтобы эффект от этого во что бы то ни стало был максимальным.

«Спонсора» прежде всего интересует: сколько людей будут смотреть купленную им передачу? Не перехватят ли телезрителей конкуренты?

Чтобы поставить этот вопрос на научную основу, не покупились на расходы. Был сконструирован специальный видеотайпный счетчик. Он подключается к телевизору и записывает все передачи, которые семья смотрит за неделю. На основании этих выборочных данных рекламные агентства рассчитывают «коэффициент зрительности» для каждого канала в различные часы.

Выяснилось, что в будничные дни средний японец 32 минуты читает газеты, 35 минут слушает радио и 2 часа 40 минут смотрит телепередачи.

Днем телевизор включается лишь урывками, и редко бывает, чтобы какая-то программа привлекла более двадцати процентов зрителей. Но с семи до девяти вечера, в так называемые «золотые часы», голубой экран становится олицетворением домашнего очага. Перед ним собирается вся семья, и «коэффициент зрительности» поднимается за пятьдесят процентов.

Как ни странно, именно в «золотые часы» передачи больше всего поражают однообразием. Куда ни поверни переключатель — всюду блеск и звон клинков, стоны и хрип, искаженные яростью лица. Это зримое воплощение битвы в эфире, которая именно в эту пору доходит до предельного ожесточения.

Ни одна компания не желает пускать тут дело на самотек, чтобы человек пошарил наугад по каналам и выбрал что-то понравившееся на этот раз. Почти по всем программам в «золотые часы» идут многосерийные передачи в расчете на то, чтобы семья привыкла смотреть их постоянно, как читают роман с продолжением.

Торговцы лечебными препаратами, кстати сказать, подозрительно рьяно рвущиеся в эфир, наперебой ухватились за жанр, который можно определить как «самурайский детектив». Серии типа «Таинственный воин с мечом» прославляют ниндзя — средневековых лазутчиков, умев-

ших виртуозно владеть любым оружием, причем не на поле боя, а в стане врага.

За выбором этим стоит целый стратегический замысел.

— Мы исходили из того, — поясняет представитель фирмы «Танабэ», — что в ранние вечерние часы выбор программы обычно предоставляют детям. Но мало захватить детское воображение. Нужно, чтобы передача была интересна и для взрослых, то есть покупателей, для которых предназначена реклама лекарств. Мы сделали ставку на «Таинственного воина с мечом» и не ошиблись...

Говорят, что бусидо — старинный кодекс самурайской чести — не распространяется на лазутчиков в тылу. Судя по, всему, не распространяется он и на тех, кто ведет нынешнюю войну в эфире. Любые приемы считаются в ней дозволенными — лишь бы рос «коэффициент зрительности».

— Нет лучше клева, чем на приманку с гнильцой! — двусмысленно подмигивают коммерсанты экрана, наводняя эфир эротическими сценами в послеполуденные «женские» часы. А потом сами же кивают на счетчик: как ни странно, куда больше домохозяйек смотрят драмы о неверных женах, чем образовательные передачи, идущие в ту же пору дня...

«Коэффициент зрительности» подменил собою все: художественную, познавательную, воспитательную ценность передач, все критерии искусства, всякую меру добра и зла.

Есть нечто символичное, выражающее самую суть коммерческого телевидения в том, что следом за крупнейшими электротехническими концернами в списке наиболее щедрых «спонсоров» идут фармацевтические фирмы.

Расходы на рекламу составляют львиную долю непомерно раздутой стоимости медикаментов. Причем рекламируются, так сказать, лекарства массового потребления: всякого рода эликсиры бодрости, средства от переутомления, нервного расстройства, бессонницы.

Одурманить человека, вбить ему в голову, что от житейских тягот его могут избавить некие сомнительные панaceи, — не такую ли роль отводит голубому экрану денежный мешок?

Много труда и таланта вложил японский народ, создав двадцать миллионов голубых экранов. Но чем больше подпадает телевидение под власть коммерции, тем

явственнее обращается в свою противоположность. Оно начинает оглуплять человека, вместо того чтобы просвещать его; оно насаждает пороки, вместо того чтобы утверждать добродетели.

Именно об этом и предостерегает крылатая фраза Сиоити Оя.



Слезы экрана

Трудно было поверить глазам: знакомый кинотеатр на перекрестке выглядел как разоренное гнездо. Выломали ряды стульев в зрительном зале, сорвали витрины в фойе, поснимали двери. Рабочие долбили в стенах новые проемы, бетонировали пол. Случайно уцелел только рекламный щит наверху: то ли о нем забыли, то ли еще не дошла очередь.

Капли дождя сбегали по нарисованному на фанере женскому лицу, словно оказавшаяся бездомной кинозвезда Фудзико Ямамото оплакивала свою участь.

Что здесь теперь будет?

«Пачинко», зал игральных машин, где люди часами следят за зигзагообразным падением стального шарика по доске, утыканной гвоздями.

— Через неделю открытие, приходится спешить, — говорит Прораб в желтой каске. — Но ничего, управимся, дело привычное.

Да, подобные заказы давно не в новинку, ибо поступают не десятками и даже не сотнями. В Японии пущено на слом и переоборудовано под «пачинко» три с лишним тысячи кинотеатров, то есть больше половины всех имевшихся в стране. Покровительница искусств Бентен вынуждена уступать свои владения богу наживы Дайкоку.

К концу пятидесятых годов Япония вышла на первое место в мире по производству фильмов, выпуская по 600 полнометражных картин ежегодно. Причем в отличие от Голливуда японская кинематография могла не заботиться об экспорте. Вместе с ее развитием неуклонно увеличивалось число кинозрителей в стране. В 1958 году оно достигло 1130 миллионов человек. Японцы показали

себя заядлыми любителями ходить в кино: на каждого жителя пришлось по 12 посещений в год!

Но в ту же пору, когда кинематография Японии стала самой плодотворной в мире, кривая посещений вдруг поползла вниз. За шестидесятые годы число кинозрителей сократилось вчетверо. Почему?

Чаще всего пытаются объяснить это конкуренцией других видов досуга: если в первом послевоенном десятилетии кинематограф служил главным развлечением, то потом появились телевизоры, получил небывалое развитие туризм. Вряд ли, однако, это единственная и даже основная причина упадка японского кино. Оно стало терять зрителей по мере того, как уменьшалось количество подлинно художественных фильмов, по мере того как творческий дух все больше подавлялся засильем монополий.

Движущей силой кинематографического бума была конкуренция. Развивалось не киноискусство, а киноиндустрия, где Дайкоку своевольно навязывал Бентел свои законы.

Осточенную битву за японский экран выиграли пять киноконцернов: «Тохо», «Сётику», «Дайэй», «Тоэй», «Никкацу». Они прибрали к своим рукам студии, фабрики, театры — все, начиная с производства фильмов и кончая их прокатом. А потом пожелали столь же монопольной, деспотической власти и над работниками кино. Они опутали режиссеров, артистов, операторов такой системой долгосрочных контрактов, которая, по существу, лишила их творческой свободы, утвердив в кинематографии нечто вроде крепостного права.

Дождевые капли текут по лицу Фудзико Ямамото на рекламном щите обреченного на слом кинотеатра. Они словно напоминают, что у популярной киноактрисы и впрямь есть повод оплакивать свою участь: после того как Фудзико Ямамото решила стать независимой и отказалась продлить контракт с концерном «Дайэй», ей нигде не стали давать ролей: ни в фильмах, ни в пьесах.

«Отлучение» Фудзико Ямамото было задумано как назидательный пример: пусть никто не вздумает рваться из сетей «большой пятерки».

Однако законы искусства мстят тем, кто их попирает. Подняв японское кино на уровень Голливуда с точки зрения технической, «большая пятерка» одновременно ни-

звела его на подобный же уровень с точки зрения художественной.

Доверие зрителей было подорвано, а вместе с ним и способность конкурировать с новым серьезным соперником — голубым экраном. Ведь если телевидение живет доходами от рекламы, кино может полагаться только на кассовый сбор.

И вот тут, когда в японском кино обозначился застой, вдруг хлынула на поверхность так называемая «розовая волна». Чтобы не определять это эпидемическое заболевание столь благозвучным словом, применим другой, к тому же более ходовой термин: «эрокартины».

Эротические, или, точнее говоря, порнографические, фильмы и прежде штамповали где-то на задворках. Но к середине шестидесятых годов этот полулегальный бизнес наводнил страну почти таким же количеством эрокартин, сколько фильмов выпустила на экраны «большая пятерка».

— Чтобы заработать сейчас в Японии на поприще кино, — цинично рассуждают дельцы, — нужно два условия: во-первых, снимать фильмы предельно дешевые в производстве; и, во-вторых, о том, чего нельзя показать на телевизионном экране.

Когда «розовая волна» захлестнула японский кинорынок, а телевидение сделало главную ставку на многосерийные гангстерско-самурайские боевики, «большая пятерка» испугалась конкуренции и спасовала. Она стала оглядываться на тех и на других соперников, трусливо подражать им. Жанры «эро» и «якудза» оказались на переднем плане.

«Якудза» — это как раз те фильмы из бандитского быта, о которых упоминали когда-то Ильф и Петров, рассказывая о четырех стандартах Голливуда:

«Говорят, фильмы эти очень похожи на жизнь, с той только особенностью, что настоящие гангстеры, совершающие налеты на банки и похищающие миллионерских детей, не могут и мечтать о таких доходах, какие приносят фильмы из их жизни».

Можно подумать, что именно эти слова из «Одноэтажной Америки» вдохновили одного из заправил японского преступного мира на сенсационное решение переменить профессию. Вот фотография, обошедшая газеты. Гости в визитках с фалдами и в полосатых брюках с почтительной скорбью слушают патетические слова хозяина:

— Я прощаюсь с делом, которому посвятил двадцать лет жизни.

Может быть, это уходит со сцены знаменитый трагик? Светят юпитеры, трещат киноаппараты, и никак не подумаешь, что столь торжественную церемонию затеял Нобору Андо, чья банда доставила уйму хлопот токийской полиции. Лишь потом стало ясно, что театральное прощание с бандитским прошлым служило для Андо дебютом в другой области — кинематографии. Главарь гангстеров подписал контракт с компанией «Сётику», чтобы играть самого себя.



Преступный мир Японии устремился на новую стезю. Сыскное бюро токийской полиции опубликовало предостережение о том, что все больше гангстеров нанимаются охранниками в частные фирмы. Несколько главарей бандитских шаек занимают даже должности начальников заводской охраны.

Создавать «частную» полицию стало модным у японских предпринимателей. В Токио есть компания, которая содержит 220 собственных патрульных автомашин с радиосвязью и 1600 охранников в форме, каждый из которых снабжен дубинкой и наручниками, как настоящий полицейский.

Сыскное бюро вежливо порекомендовало заводчикам быть разборчивее при подборе таких стражей. Только в беспечности ли тут дело! Летопись японского рабочего движения насчитывает множество примеров, когда предприниматели нанимали банды громил для расправ над забастовщиками. Гангстер, одетый в форму охранника, — это лишь новая форма давних связей между деловым и преступным миром.

«Правда», июнь 1968



Япония принадлежит к числу тех стран мира, которым в наименьшей мере присуще воровство, а японская полиция претендует на мировое первенство по части задержания виновников краж — таковы официальные данные Международной организации уголовного розыска (Интерпол), которая провела свою 36-ю сессию в Киото.

По статистике Интерпола, на 100 тысяч жителей в Японии приходится лишь 4 кражи в год, на Филиппинах — 18, в Эфиопии — 19, в Нигерии — 21, в Марокко — 23, в Гонконге — 33, в Индии — 36, на Цейлоне — 58. Количество же краж в развитых капиталистических странах Запада в десятки и даже сотни раз выше. Первое место в мире занимают здесь Соединенные Штаты Америки:

662 кражи на сто тысяч жителей. Далее следуют: Израиль — 553, ФРГ — 526, Англия — 501, Италия — 413, Франция — 115.

По данным Интерпола, полиция задерживает в Японии 48 процентов виновников краж и 83 процента виновников ограблений, в то время как в США эти цифры составляют соответственно 23 и 38 процентов, в Англии — 33 и 37 процентов. Высокий процент задержанных воров и грабителей в Японии объясняют отсутствием у страны сухопутных границ, монолитностью ее национального состава и, что всего важнее, активным содействием населения уголовному розыску.

Газета «Иомиури», сентябрь 1967

Ставка на низменные стороны человеческой природы не помогла дельцам экрана поправить пошатнувшиеся финансовые дела. Напротив, эротическо-гангстерская волна еще более дискредитировала кино в глазах общественности.

Было бы упрощением сказать, что шестидесятые годы вовсе не оставили в японском кино светлого следа. Но фильмы, которые заслуженно привлекли внимание советского зрителя на международных фестивалях («Токийская олимпиада» Кон Итикава, «Рыжая борода» Акира Куросава, «Рис» Тадаси Имаи, «Голый остров» Кането Синдо), были редкими исключениями, которые родились не благодаря, а вопреки сложившемуся в японской кинематографии порядку вещей.

От художника, не желающего поступиться своими творческими принципами, требуется поистине подвиг, чтобы в условиях всевластия «большой пятерки» ставить фильм самому. Так, в частности, создавалась картина «Голый остров», удостоенная Большого приза на фестивале в Москве. Группа из тринадцати энтузиастов во главе с режиссером Кането Синдо вела съемки на свои личные средства, зная, что главные трудности еще впереди, ибо единственная фирма, занимавшаяся прокатом «независимых картин», разорилась. Чтобы показать у себя на родине фильм, получивший мировое признание, пришлось обращаться к помощи общественных организаций, профсоюзов, переснимать его на узкую пленку для сельских кинопередвижек.

Две-три самодельные «независимые» картины в год на фоне четырехсот-шестисот, снятых во всеоружии самой современной техники. Какой же убийственный для буржуазного искусства парадокс заключен в том, что именно

эти полпроцента дают произведения, которыми японское кино вправе гордиться!

Мы беседовали об этом в кафе, где обычно собираются писатели, режиссеры и артисты. Нарисованная на стене Бентен с лютней в руках тоже была в числе собеседников, ибо речь у нас то и дело заходила об участии покровительницы искусств.

Говорили, в частности, вот о чем. Японию относят к числу наиболее демократических стран буржуазного мира. До какой же степени пользуется здесь человек искусства творческой свободой?

Писатель сформулировал свой вывод в виде шутки, от которой, впрочем, никто не засмеялся.

— У нас нет ножниц, которые на Западе символизируют цензуру. Но вместо них существует такой атрибут «японской экзотики», как нож. И режут им не статью, а того, кто ее написал или напечатал...

Он напомнил о «деле Симанака»: правые учинили расправу над редактором журнала «Тюо корон» лишь за то, что он опубликовал произведение, герою которого во сне привиделось падение императорского режима. Террорист ворвался в квартиру Симанака, убил его жену, а сам редактор уцелел лишь потому, что случайно задержался в типографии.

Факт этот вовсе не единичный. Молодой писатель Кендзабуро Оя поднял так называемую «проблему семнадцатилетних»: можно ли допускать, чтобы правые вкладывали нож в руки подростков, подбивали несовершеннолетних на осуществление террористических актов? Ведь именно одним из семнадцатилетних был убит председатель социалистической партии Асанума.

Едва, однако, слова Кендзабуро Оя были напечатаны, как журналу пришлось приносить за это публичные извинения.

— Вы, может быть, думаете, что подобные репрессии угрожают лишь произведениям, которые так или иначе направлены против существующего строя или содержат какие-то радикальные идеи? — с жаром вступил в разговор драматург. — Ничего подобного! Удар направлен против самых основ искусства, против его гуманистической сердцевины.

Собеседник привел в пример историю со спектаклем «Единственный сын».

И телевизионная компания, и крупная электротехни-

ческая фирма «Тосиба», которая согласилась закупить передачу как фон для своей рекламы, одобрили текст, представленный драматургами Секи и Тарада. Приступили к постановке и съемкам. Спектакль уже был готов к передаче в эфир, когда «Тосиба» неожиданно и без объяснений причин отказалась от данного ею слова. Прошел лишь слух, что за этим стоят какие-то весьма влиятельные круги. Что же могло не понравиться им в пьесе?

В центре спектакля «Единственный сын» — судьба семнадцатилетнего юноши, который оказался на ответственном перекрестке при выборе жизненного пути. Его тянет к технике, к машинам. Но поступить в институт нелегко, а еще труднее сразу учиться и зарабатывать себе на жизнь. Приятель предлагает: не пойти ли в военное училище? Будешь жить на всем готовом, да к тому же получать такое же техническое образование. А дальше видно будет...

Отец, к которому юноша обращается за советом, воспринимает этот наивный, сугубо практический расчет как возвышенный долг памяти старшего брата, погибшего на войне в числе камикадзе — летчиков-смертников.

Но тут вдруг раздается голос всегда тихой и кроткой матери. Нет! Она скорее умрет, чем согласится увидеть и второго сына в военной форме. Старшему тоже было семнадцать, когда она проводила его в первый и последний боевой вылет...

Семья, показанная в пьесе, подчеркнута далека от политики. Но вспыхнувший в ней спор наводит на раздумья о судьбах послевоенного поколения.

— Для ответа на вопрос, что и как стесняет у нас свободу творчества, мало перечислить запретные темы, — задумчиво произнес кинорежиссер. — Кроме формального права сказать свое слово в искусстве, нужно, чтобы это слово было услышано, дошло до сердец. Вам могут и не затыкать рта. Но какой толк, если ваш голос будет для окружающих беззвучным шевелением губ? Бентен, — он кивнул головой в сторону изображения на стене, — носит лютому еще с тех времен, когда сказители бродили по дорогам: собрал толпу — сочиняй и пой. Но кто услышит звуки струн в грохоте современной цивилизации? Теперь между тем, кто творит, и теми, для кого творят, всегда есть некое промежуточное звено. Надо, чтобы книга была издана, фильм снят, телевизионный спектакль прошел в эфир. И вот это-то звено вырвано из нежных рук Бен-

тен. Его заграбастал бородач Дайкоку. Так и стала свобода творчества тонкой былинкой, которая хиреет в зарослях чертополоха, имя которому — свобода коммерции.

Расставаясь с моими собеседниками, я бросил прощальный взгляд на Бентен. Ее глаза были печальны. Нет, не легко покровительнице искусств терпеть деспотию бородастого бога наживы!



Дзимму верхом на коне

Наряду с современным в Японии продолжает бывать и традиционное летосчисление. С ним пусть нечасто, но сталкиваешься, и в нем почти неизбежно путаешься.

В самой системе вроде бы нет ничего сложного: счет годам ведется по эрам правления и возобновляется заново, как только очередной наследник вступает на престол. Пока правил дед нынешнего императора, шла эра Мэйдзи, потом — эра Тайсё, а теперь идет эра Сёва, сто двадцать четвертого потомка основателя династии.

Труднее всего приходится японским школьникам, которые должны заучивать наиболее важные даты отечественной истории в старом летосчислении. Ведь чтобы ориентироваться в хронологии, надо помнить последовательность ста двадцати четырех эр правления, продолжительность которых неодинакова.

В повседневной жизни пересчет выглядит проще. Если на фотопленке указан срок годности до 45-го года, имеется в виду 1970-й. Когда японские спортсмены говорят о рекордах 39-го года, речь идет о Токийской олимпиаде 1964-го. Упоминания о бурных демонстрациях 35-го года подразумевают борьбу против ратификации «договора безопасности» в 1960-м.

По аналогии напрашивается вывод, что первым годом эры Сёва должен вроде бы быть 1926-й. В хронологических таблицах он значится, однако, как последний год эры Тайсё. Дело в том, что отец нынешнего императора умер 25 декабря 1926 года. Назавтра началась новая эра правления, но ее первый календарный год продолжался меньше недели, ибо с 1 января 1927 года пошел... второй год эры Сёва.

Поначалу я не особенно стремился вникать в подобные тонкости, полагая, что в корреспонденциях из Японии традиционное летосчисление может пригодиться разве лишь для колорита. Оказалось, однако, что вопрос этот стал темой политического репортажа.

Император Дзимму предстал перед жителями города Касивара верхом на белом коне, в том самом одеянии и доспехах, в которых он, как гласит легенда, вступил там на престол в 660 году до нашей эры. Держа в руке булаву, увенчанную птицей с распростертыми крыльями, он медленно ехал во главе воинов древнего племени ямато.

Можно было подумать, что это оживший памятник. Но когда Дзимму к тому же заговорил, горожанам было еще труднее поверить собственным ушам, чем глазам.

Мифический правитель выразил радость, что дата его восшествия на престол отныне вновь будет ежегодно отмечаться как «День основания государства».

— Это, — изрек он, — знаменательное событие, которое, надеюсь, откроет пору пробуждения национального духа в Японии. С демократией дело на лад не пойдет. Я считаю, что страной должен править император. Надо расширить его полномочия, отменить антивоенную конституцию. Я за то, чтобы у нас была армия как армия; за то, чтобы молодежь воспитывалась в духе бусидо...

Все описанное выше отнюдь не литературный прием, не вымысел фельетониста. Все это произошло наяву 11 февраля 1967 года. Роль Дзимму исполнил бывший полковник императорской армии Сабуро Иосикава — тогдашний мэр города Касивара, ассигновавший два миллиона иен, чтобы обрядить служащих муниципалитета в древние доспехи племени ямато.

Пока мэр, загримированный под Дзимму, излагал свое политическое кредо перед толпой, в которой живописно выделялись военные мундиры более поздних эпох (один старик явился в полной парадной форме и при орденах времен русско-японской войны), воспитание в духе бусидо по соседству демонстрировалось на практике. Выкор-мыши ультраправых террористических организаций на шестнадцати грузовиках подъехали к зданию, где шел рабочий митинг против «Дня основания государства», и учинили там драку.

В столице сочли рвение мэра города Касивара чрез-

мерным. Еще бы! Ведь он не столько устроил маскарад, сколько сорвал маску с нового праздника, из-за которого в политической жизни Японии почти десять лет бушевали страсти.

На первый взгляд может показаться странным, что тема ожесточенных столкновений между прогрессивными и консервативными силами касалась области преданий и мифов; даты, отстоящей от современности более чем на 26 веков. Тем не менее это так. Демократическая общественность в течение целого десятилетия упорно сопротивлялась попыткам объявить государственным праздником день восшествия на престол мифического императора Дзимму и считать 11 февраля 660 года до нашей эры днем основания японского государства.



По поводу этой даты заслуженный профессор японской литературы и филолог Б. Чемберлен замечает, что с такою же самой степенью достоверности можно указать время вступления на престол царя Гороха или же истинный объем скорлупки, которую волшебница мановением чародейского своего жезла превратила в парадную карету для своей крестницы Золушки.

В. Ранцов, Очерки истории Японии, Спб., 1904



Вплоть до конца войны японских детей учили не историческим фактам, а мифам. Их учили, что Япония — священная земля, управляемая непрерывной династией потомков Дзимму. Их заставляли заучивать девиз Дзимму: «Восемь углов мира под одной крышей». Идея, заложенная в этом девизе, как и сам праздник основания государства (Кигенсецу), составляли духовную основу агрессивной, империалистической, воинствующей, ультра националистической Японии.

Газета «Иомиури», февраль 1964

Дело, стало быть, не только в том, что заимствованный из легенд факт лишен научной основы. Праздник, отмечавшийся вплоть до капитуляции Японии под именем Кигенсецу, оставил о себе недобрую память.

Народу внушали, что божественное предназначение Страны восходящего солнца — собрать «восемь углов мира под одной крышей». Именно так был назван 37-метро-

вый каменный монумент, воздвигнутый на юге Японии в 1940 году, когда шумно отмечалось «2600-летие восшествия Дзимму на престол». (В том же самом году правители Японии подписали «тройственный пакт» с Гитлером и Муссолини, объявили о роспуске всех политических партий и профсоюзов).

Солдаты уходят на войну. Тот, кто шагает во главе колонны, вместо винтовки несет на плече двухметровую деревянную ложку, исписанную иероглифами. Это увеличенная до гигантских размеров самодзи — круглая лопаточка, какими в японских семьях раскладывают рис из котла в миски. Подарить большую самодзи — значит выразить пожелание: гребни добычу лопатой. С таким напутствием провожали войска.

А вот встреча. Тот же строй, та же походная форма, только без винтовок. Бережно, словно только что полученную награду, каждый прижимает к груди аккуратный белый ящичек. Колонна награжденных? Нет, это возвращаются домой останки тех, кто погиб на заморских фронтах. Три миллиона урн, обтянутых белым траурным крепом, — вот трофей, который принесла японскому народу война.

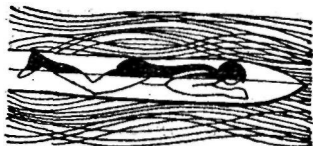
Оба эти снимка помещены в альбоме «История Японии в войне». Сборник ценен тем, что целиком состоит из документальных фотографий, которые в свое время были изъяты военной цензурой.

Расправы над чужими пленными и брустверы из трупов своих солдат. Разграбление Шанхая, Гонконга, Манилы, Сингапура и горящие после воздушных налетов японские города. Когда видишь сейчас эти снимки, поставленное на них когда-то клеймо «запрещено» воспринимается уже в совсем ином смысле — как выражение воли народа, в конституции которого провозглашен навечно отказ от войны.

За шовинистический угар, за алчные планы господства над Азией пришлось расплачиваться дорогой ценой. Война, начатая на Азиатском континенте и тихоокеанских просторах, приблизилась к берегам самой Японии.

Пришлось делать ставку на пилотов-смертников, камикадзе, в надежде, что они, подобно «божественному ветру», разметавшему флот Хубилая в XIII веке, избавят страну от угрозы вторжения. Подобным же оружием были и управляемые человеком торпеды. Их называли «Кайтен», что значит «повернуть судьбу». Так от культа

Дзимму с его девизом: «Восемь углов мира под одной крышей» — военщина довела страну до культа самоубийств.



Тайна „Осенних вод”

Пригородная электричка вырвалась из-за поворота, когда машинист вдруг увидел впереди человека, распластавшегося на рельсах. Сработал рычаг экстренного торможения, но было поздно.

Так при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь начальника управления вооружений Морита. Под колесами оказался один из высокопоставленных чинов военного ведомства, который именно в ту пору должен был решить, кому передать заказ на два дивизиона ракет «Ника-Геркулес» стоимостью в 50 миллиардов иен и на два дивизиона ракет «Хок» стоимостью в 40 миллиардов иен. «Сражение за 90 миллиардов» развернулось между давними соперниками — монополистическими группами «Мицубиси» и «Мицуи» — как раз в том самом году, когда мифическая дата восшествия Дзимму на престол вновь была объявлена государственным праздником.

Через три недели после гибели Морита заказ на «Ника-Геркулес» был передан фирме «Мицубиси дзюкогио», а подряд на «Хок» был поделен в пропорции 7:3 между фирмами «Мицубиси дэнки» и «Тосиба» (группа «Мицуи»).

Загадочная смерть начальника управления вооружений, казалось бы, давала отменный материал для падкой на сенсации буржуазной прессы. Никакой шумихи, однако, не последовало. Газеты вопреки обыкновению отмолчались, и данный пример можно было бы считать исключением, если бы ему не предшествовал другой.

Незадолго до таинственной гибели Морита в токийских газетах вскользь промелькнуло первое — и единственное — упоминание о том, что перед самым концом войны Япония стояла на пороге создания секретного оружия, на которое возлагались последние надежды: пилотируемого самолета-снаряда «Сюсуй» («Осенние воды»). А между тем сообщение это было поистине сенсационным хотя бы

потому, что о работах над «Сюсуй» за все послевоенные годы в Японии не говорилось ни слова.

Пришлось отправиться по следам вроде бы случайной газетной заметки.

— Вот здесь, на этом школьном дворе, размещался наш засекреченный исследовательский центр. Кос-что напоминает о нем и сейчас. Тот бронеколпак в углу — не дот, а подземный склад ракетного топлива. А эти прокопченные бетонные плиты у спортплощадки — следы испытательного полигона, — рассказывает Тадахиро Ямада, житель города Мацумото, затерявшегося среди заснеженных гор префектуры Нагано. Он преподает математику в той самой школе, где когда-то втайне рождался проект «Сюсуй».

Надежно укрытый горными кряжами от обоих побережий, городок Мацумото знал о войне лишь понаслышке. Но с конца лета 1944 года оклеенные бумагой оконные створки все чаще стали вздрагивать по ночам от каких-то глухих взрывов.

Сначала думали, что это американские бомбы, — хотя что могло понадобиться «летающим крепостям» в этой глуши? Но вскоре старики, выжигавшие уголь в окрестных горах, заметили, что ночному грому вторят вспышки пламени на школьном дворе.

Школа, расположенная на отшибе, была реквизирована для военных нужд. Старшеклассников отправили отбывать трудовую повинность, а малышей распустили по домам. Однако даже они не могли полюбопытствовать, для кого потребовалось освободить место: не только территория школы, но и дороги, ведущие к ней, были оцеплены и строго охранялись.

Прошел слух, что в школе испытывают какое-то новое оружие. Будущее показало, что разговоры эти отнюдь не были беспочвенными.

После Сталинграда банкротство доктрины молниеносной войны становилось все очевиднее не только на Западе, но и на Востоке. Авантюра, начатая внезапной атакой на Пирл-Харбор, явно оборачивалась для Японии катастрофой. Как в Берлине, так и в Токио в ту пору все больше мечтали о чуде в образе какого-то секретного оружия, способного изменить ход войны. На фоне того, как в Германии был создан самолет-снаряд «фау», а в Японии человек-торпеда «Кайтен», возникла идея создать некий гибрид того и другого. В императорской ставке сочли,

что если самолет-снаряд типа «фау» будет управляться пилотом-смертником, его боевая эффективность резко возрастет.

Как и на каких условиях согласился Гитлер представить своим союзникам чертежи нового оружия, остается неизвестным. Одной истории о том, как эта техническая документация была через Испанию доставлена на борт японской подводной лодки, хватило бы на целый детективный фильм. Главные приключения были, однако, еще впереди. В июле 1944 года подводная лодка при неясных обстоятельствах затонула близ Сингапура. Часть секретных документов удалось спасти, но некоторые чертежи были безнадежно испорчены морской водой.

Пришлось посылать в Берлин дополнительные запросы. Однако, не дожидаясь ответа на них, в горах префектуры Нагано начались работы по осуществлению проекта «Сюсуй».

— Как раз в ту пору, — рассказывает Тадахиро Ямада, — я в числе других специалистов управления военного производства при фирме «Мицубиси дзюкогио» был откомандирован в город Мацумото. Там к нам присоединилась группа офицеров из штаба ВВС императорской армии.

На десятом месяце работ стало ясно, что на дополнительные пояснения из Берлина рассчитывать нечего: в мае 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Возможно, именно поэтому первые испытания японского пилотируемого самолета-снаряда, проведенные 7 июля в Иокосука, окончились неудачей. Ракетный двигатель заглох вскоре же после взлета, и «Сюсуй», потеряв управление, врезался в одну из аэродромных построек. Пилот, катапультирование которого не предусматривалось проектом, стал смертником еще до первого боевого вылета.

Несмотря на срыв, работы над проектом «Осенние воды» продолжались в лихорадочном темпе. Теперь уже никто не помышлял об использовании нового оружия для ударов с подводных лодок по западному побережью Соединенных Штатов. «Сюсуй» нужен был прежде всего для перехвата бомбардировщиков Б-29. Они обрушивали свой смертоносный груз на японские города, оставаясь неуязвимыми, ибо летали на высоте десяти тысяч метров, а японские истребители могли подняться лишь до восьми с половиной тысяч.

15 августа с целью подчеркнуть участникам проекта

«Осенние воды» первостепенную важность и срочность их миссии, в Мацумото прибыл флигель-адъютант императорской ставки. Однако по иронии судьбы всего через час после его приезда радио передало речь императора о капитуляции. Всю последующую неделю на школьном дворе полыхали костры из бумажных кип. «Осенние воды» так и остались тайной, неизвестным понятием для большинства японцев.

Почему же об этой драматической истории вдруг вспомнили, когда в Японии вновь зашла речь об освоении отечественного производства боевых ракет — на этот раз уже по американским лицензиям?

Много воды утекло со времени секретных работ в городе Мацумото. За это время обрел новых хозяев за океаном создатель гитлеровских «фау» Вернер фон Браун. Иной стала Япония, иными стали японцы. Но на этом фоне особенно заметна черта, оставшаяся неизменной: фирма «Мицубиси дзюкогио», которая когда-то строила человеко-торпеды «Кайтен» и которой было поручено создание пилотируемого самолета-снаряда «Сюсуй», по-прежнему претендует на роль главного производителя новинок военной техники.

«Отчаянная попытка создать пилотируемый самолет-снаряд была последней конвульсией императорской армии. Но ее можно также рассматривать как начало эры ракетного оружия в Японии» — эти слова, напечатанные в газете «Иомиури», проливают некоторый свет на поставленный выше вопрос.

В момент, когда за право получить подряд на производство ракет «Ника-Геркулес», «Хок» яростно сшиблись лбами ведущие японские монополии, напоминание о проекте «Сюсуй» прозвучало как заявка одной из них на приоритет в данной области.



Народ в массе имеет весьма ошибочное представление о том, что такое патриотизм. Я встречал немало людей, считающих, что любовь к Японии предопределяет ненависть ко всем другим странам, что нельзя быть преданным родине и в то же время восхищаться зарубежными государствами.

Преподобный Р. Б. Пири. Сущность Японии.
Лондон, 1867



Характер японцев отмечен двумя дисгармонирующими качествами: скромностью и самонадеянностью. Их язык, нравы, обычаи воплощают идею самоуничужения, в то время как их умы полны чрезмерным тщеславием — личным и национальным.

И. Клемент, Справочник современной Японии.
Нью-Йорк, 1903



Переход к тоталитаризму был бы менее болезненным для японцев, чем для любого западного народа. Есть большое искушение подозревать, что покойный основатель сёгуната Токугава может возродиться вновь.

Эдвард Зейденштикер, Япония. Нью-Йорк, 1962



Зачем воскрешают богов

Пока вчерашние производители пилотируемых человеком торпед и самолетов-снарядов спешат приобщиться к выпуску современного ракетного оружия, на другом, идеологическом фланге идет ожесточенное сражение за умы молодежи.

Послевоенному поколению свойственно задаваться вопросами: каково же место Японии в послевоенном мире? Какова ее новая роль? На этих естественных раздумьях кое-кто пытается спекулировать. Молодежи вбивают в головы, будто Япония все еще не обрела положения великой державы из-за отсутствия неких «национальных целей». Дескать, выкорчевали из умов милитаризм и шовинизм, но ничего другого взамен не вложили. Вот и возникла «духовная пустота», помеха национальному самосознанию.

Здоровое чувство национальной гордости расцветает на почве доброжелательства и уважения к другим народам. Но у тех, кто кричит об «идейном вакууме», на уме другое. Идет перекройка школьных программ, которую прогрессивная печать метко охарактеризовала как «воскрешение богов».

Едва восстановили в календаре «День основания госу-

дарства», как император Дзимму вновь вернулся на страницы учебников.

Профессор Сабуро Иенага, автор книги «Новая история Японии» для старшекласников, демонстративно подал в суд на министерство просвещения за то, что оно вносит в текст все новые и новые поправки. Суть их — постепенный отход от оценки минувшей войны как преступного акта со стороны тогдашних правителей Японии — милитаристской клики.

Линия эта видна даже в замене иллюстраций. В разделе «Война и жизнь населения», например, вместо женщин, томящихся в очереди за продовольственным пайком, появилась фотография генерала Годзио, который отечески утешает детей павших воинов.

Зато урезано описание трагедии Хиросимы и Нагасаки, иным стало разъяснение девятой статьи послевоенной конституции. Раньше о ней говорилось:

«Японская конституция выражает стремление народа к миру. Она провозглашает, что Япония навечно отказывается от войны как средства решения международных споров и не будет создавать какие-либо вооруженные силы».

Вместо этого теперь в учебнике написано лишь следующее:

«Конституция гласит, что, желая всеобщего мира, Япония не будет вести войн, приносящих народу несчастья».

Перестройка школьных программ сопровождается яростными нападками на Всеяпонский профсоюз учителей.

Все шестьсот тысяч,
Как один, верны клятве.
Это мы, это мы — «Никкиосо».

Где только не услышишь в Японии эту песню! На товарищеской пирушке и на массовом митинге ее поют стоя, взявшись за руки и раскачиваясь в такт.

И всякий раз, когда звучит учительский гимн, до глубины души чувствуешь: какая это могучая общественная сила — шестьсот тысяч наставников молодежи, объединенных клятвой: «Никогда больше не пошлем наших учеников на поле боя!»

Именно под таким девизом родился после войны Всеяпонский профсоюз учителей («Никкиосо»). Люди, воспитавшие поколение пилотов-смертников, с болью осознали трагизм своей причастности к превращению школы

в слепое орудие милитаристских сил, которые довели страну до национальной катастрофы. Ведь именно раздуванию шовинистического угара служил пресловутый рескрипт «о верности трону, созданному вместе с небом и землей», идея о божественном предназначении Японии, якобы завещанная самим Дзимму — потомком богини солнца и основателем императорской династии.

После капитуляции по требованию союзных держав устои старой школы были разрушены, а учителям была предоставлена свобода политической деятельности. Когда несколько лет спустя, с началом войны в Корее, американские оккупанты сбросили маску «поборников демократизации Японии» и открыто взяли реакционный курс в народном просвещении, им уже противостояла мощная организованная сила в лице Всеяпонского профсоюза учителей.

Не раз предпринимались с тех пор попытки внести раскол в его ряды, сколотить в противовес ему некую педагогическую лигу. Но «Никкиосо», объединяющий в своих рядах около восьмидесяти процентов преподавателей первого-девятого классов и пятидесяти процентов преподавателей десятого-двенадцатого классов, донныне остается влиятельнейшей силой в народном образовании; силой, которая формирует умы и сердца почти двадцати миллионов школьников.

Если японским реваншистам приходится пока лишь завидовать многому, в чем их западногерманские братья давно преуспели, несомненная заслуга принадлежит здесь тем, кто хранит верность клятве: «Никогда больше не пошлем наших учеников на поле боя».

Говорить о «божественном предназначении» Страны восходящего солнца теперь никто не решится. Но все чаще стали заводить речь, что Японии надлежит стать «третьим столпом свободного мира» наряду с США и их натовскими союзниками в Европе. Что же сулила бы стране подобная роль? Быть костылем для прогнивших реакционных режимов в Азии? Неужели южновьетнамские марионетки или южнокорейская клика и есть олицетворение того «свободного мира», который Япония должна подпирать, дабы обрести «национальную цель»?

В сознании нации произошел глубокий сдвиг. Нельзя его недооценивать, но было бы неверно и переоценивать

его. Дерево милитаризма срублено, но и не все его корни вырваны до конца.

Есть силы, которые стремятся возродить фанатический ореол вокруг слов «камикадзе» и «Кайтен». На эту тему пишутся книги, снимаются кинофильмы. В военном училище близ Хиросимы открыт монумент, на котором написаны имена 2624 смертников, взорвавшихся вместе со своими самолетами или торпедами.

Разумеется, для ракетно-ядерного века человек-торпеда или человек-бомба — вчерашний день. Если прежде японские фабриканты оружия ухитрялись наживаться на механизации индивидуальных самоубийств, то вернуться к прежнему делу теперь значило бы уготовить подобную участь сразу целому народу.

Как знать, может быть, монументы с именами смертников сослужат службу. Пусть смотрит на них молодое поколение, поднявшееся за послевоенные годы; поколение, которому кое-кто мысленно примеряет военный мундир.

Трудно придумать более наглядное выражение мысли, к которой приходит каждый японский патриот, задумываясь над судьбами своей родины, над проблемами войны и мира: путь милитаризма и реваншизма может в наш век означать для Японии лишь путь национального самоубийства.



Восхождение на Фудзи

Буду откровенным: когда служитель поднебесного храма выжигал на моем посохе последнее, десятое клеймо «Вершина Фудзи, 3776 метров», — в голове у меня была лишь далекая от поэтического пафоса японская пословица: «Кто ни разу не взобрался на эту гору, тот дурак; но кто вздумал сделать это дважды, тот дважды дурак».

Хотя из десяти этапов древней паломничьей тропы я прошел лишь половину (восхождение начинают теперь с пятой станции, куда проложена платная автодорога), пеший подъем с трех часов дня до трех часов ночи нельзя назвать пустяковой прогулкой. Тем более когда весь

опыт альпинизма ограничивается детскими воспоминаниями о груде шлака у котельной во дворе старого ленинградского дома.

Кстати, именно эта груда вставала в памяти, когда я карабкался по бесконечному склону священной японской горы, увязая ногами в пористых острых осколках и вьедливом вулканическом пепле.

Фудзи — это тысячекратно увеличенный отвал шлака: та же фактура, тот же цвет от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее будет сказать: чем выше, тем круче. Дает о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркивать художник Хокусай в своих картинах «Сто лиц Фудзи».

За пятой станцией остался шум сосновых лесов. За шестой исчезли всякие следы растительности. Тропа, по словам японцев, пересекает здесь «границу земли и неба». Но чем безжизненной становится склон, тем он многолюднее. Попутчиков столько, что вполне можно обойтись и без проводника.

Между седьмой и восьмой станциями назначен ночлег. В приземистой хижине из лавовых глыб постояльцу дают миску горячего риса, несколько ломтиков соленой редьки, сырое яйцо, место на нарах, пару одеял.

С восьми вечера до часу ночи полагается спать. Но где там! Ощущение такое, будто ты улегся не в горном приюте на высоте 3300 метров, а на перроне вокзала или у дороги, по которой гонят гурты скота. Словно копыта, цокают по камням сотни посохов, звякают бубенчики, привязанные к каждому из них, чтобы путник не отстал в тумане. Ни на минуту не стихают топот, свистки, крики лоточников. Как из вокзального громкоговорителя доносятся голоса проводников, перекликающихся с помощью карманных раций.

Давно стемнело, а люди все идут и идут. Поистине армия на марше через перевал.

Пора двигаться дальше. Вклиниваюсь в строй, и в глазах начинает рябить от пляшущих по камням лучей карманных фонариков. Лучше уж смотреть не под ноги, а по сторонам, тем более что зрелище того заслуживает. Ночное шествие выглядит как сплошная вереница огней, которая начинается где-то у подножья и, извиваясь зигзагами, уходит в немыслимую высь, к звездам.

Начинает светать. Прибавляю шаг: не пропустить бы восход! Однако общий темп движения, наоборот, замед-

ляется. Торопить впереди идущих бесполезно: им некуда ступить. В предраусветных сумерках видно, что оставшийся отрезок тропы сплошь забит людьми, которые движутся к вершине со скоростью очереди за газетами.

Самое время присмотреться к попутчикам. Идут целые семьи со старыми и малыми («Ну что ты хнычешь! Осталось совсем немного. Помоги-ка лучше бабушке. Видишь, она и то не жалуется!») Модно подстриженные девушки в джинсах с бахромой несут гитару и проигрыватель с пластинками.

Нестройный хор седовласых мужчин юношески-задорно поет по-латыни студенческую песню: врачи-однокурсники дали зарок совершить это восхождение тридцать лет назад. Учитель рассказывает в мегафон колонне за спящих школьников о природе вулканов. К словам его почтительно прислушивается экскурсия крестьянок с Хоккайдо.

Для двух молодых пар восхождение на Фудзи заменяет свадебное путешествие. («Мы оба работаем в шахте, вот и решили: не все же лазать вниз, надо хоть раз забраться и наверх. По крайней мере, будет что вспомнить и нам и невестам...»)

Пять миллионов экскурсантов приезжают каждый год к подножию Фудзи. Четверть миллиона человек ежегодно совершают восхождение на вершину. В этом пестром потоке совершенно теряются белые одежды пилигримов, бормочущих старинные заклинания: «Да очистятся шесть чувств».

Здесь, как нигде, постигаешь меру народной любви к Фудзи. Здесь убеждаешься, что восхищение ее красотой воплощает тот самый культ родной природы, который сидит в душе японца прочнее всех религий.

Легко понять, какое смятение вызвала в стране весть, что безупречные очертания горы — излюбленный образ японского искусства — находятся под угрозой!

Гора-святыня, гора-символ разрушается. Даже издали, из окна экспресса Токио — Осака, на темном конусе Фудзи видна вертикальная белая полоса. Это остатки снега на теневой стороне Большого провала, который глубоким, трехкилометровым шрамом прорезает западный склон.

А уж взобравшись на Фудзи, можно обследовать ее рану почти вплотную, Если пройти на запад по кольце-

вой тропе, опоясывающей гору на уровне пятой станции, выше по склону видишь ущелье, похожее на разинутую пасть. Начинаясь у вершины, у кромки кратера, оно постепенно расширяется до пятисот метров, а перед чертой лесов сужается вновь, уходя оврагом вплоть до подножья.

Сравнение Фудзи с гигантским отвалом шлака можно отнести не только к поверхности, но и к структуре этой вулканической горы. В японских летописях упоминаются восемнадцать ее извержений, последние из которых произошли в 800-м, 864-м и, наконец, в 1707 году, когда даже удаленный на сто километров Токио был засыпан слоем пепла в пятнадцать сантиметров толщиной.

Из этой же бурой пыли и пористых осколков, то есть грунтов рыхлых, непрочных, и сложены склоны горы, если не считать нескольких окаменевших лавовых потоков. Когда стоишь перед Большим провалом, кажется, что его дно поминутно простреливают пулеметные очереди: то тут, то там взмываются облачка вулканической пыли от падающих камней.

Оползни и обвалы учащаются весной, когда из-под снеговой шапки горы сочатся талые воды, а также в пору осенних тайфунов, когда ливневые потоки катят вниз глыбы застывшей лавы, загромождая ими речные долины у подножья.

Специалисты утверждают, что, если не принять срочных мер, Большой провал вскоре прорежет кромку кратера. Процесс эрозии тогда резко усилится, и через несколько десятилетий Фудзи станет похожа на половину зуба, выщербленного огромным дуплом. О разрушении Фудзи заговорили даже в японском парламенте. Это вызвало взрыв страстей от причитаний, что святыня прогневалась на оскорбивших ее людей, до самых неожиданных проектов спасения горы.

Ученые, например, считают, что куда большим кошунством, чем толпы экскурсантов, является спекуляция на народной любви к горе. Восемь страниц телефонной книги занимают названия коммерческих фирм, начинающихся со слова «Фудзи». Дельцы знают, что внутри страны такая марка рождает доверие, а на мировом рынке служит олицетворением Японии. Ученые предложили взимать специальный налог с корпораций, носящих имя священной горы, чтобы на эти деньги вести борьбу с эрозией.

Странный путь? Но более реального нет. Споры

выявили лишь неясность в главном: кто же в Японии должен взять на себя это неотложное дело? Местные власти? Но Большой провал как раз служит границей префектур Яманаси и Сидзуока. Государство? Но оно, сколь ни парадоксально, является тут ответчиком в многолетней тяжбе. Служители неба через суд пытаются доказать, что национальная святыня Японии не является государственной собственностью, а принадлежит находящемуся на горе храму.

Пока, однако, могу засвидетельствовать, что споры о завтрашнем дне исчезающей горы лишь подхлестнули интерес к ней. Пусть альпинисты считают Фудзи недостойной своего внимания. Километровая очередь у первой в стране вершины — это уже само по себе достопримечательность, которую не забудешь!



Кому принадлежит святыня?

Еще десять шагов. Еще пять. Вершина! Наконец-то удалось ступить ногой на высшую точку Японских островов, чтобы увидеть оттуда восход над Страной восходящего солнца.

Внизу в волнах розового света плавают горные цепи — еще более невесомые, чем гряды облаков над океаном. Все зыбко, все фантастично, как в древней легенде о богатыре Изанаги, который сотворил Японию из верницы капель, сбежавших с его копья.

На высоте 3776 метров сами собой приходят возвышенные мысли. Но вот совет: взобравшись на Фудзи, любуйтесь далями и не приглядывайтесь к самой вершине, не смотрите себе под ноги. Согласен с японцами, что традиционное паломничество делает человека чище. Но четверть миллиона восхождений в год отнюдь не очищают саму святыню.

Вершина Фудзи похожа уже не столько на отвал шлака, сколько на свалку. Повсюду разбросаны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки.

Древнее заклинание паломников «Да очистятся шесть чувств» перефразировано: «Да очистятся шесть троп к вершине». В конце каждого сезона для уборки горы

приходится вызывать воинские части. Кратер дремлющего вулкана из года в год становится все мельче, обреченный на участь мусорной ямы.

На гребне кратера как раз друг против друга расположились храм, похожий на ярмарку, и купол метеостанции, похожий на храм. Храм обращен на север, к японской земле, к полукружьям дуги окаменевших капель с копья Изаанаги. Радар метеостанции — на юг, к тихоокеанским просторам.

И если служба погоды устремлена к небесам, то служителей храма волнуют дела сугубо земные. Не следует думать, что они негодуют по поводу осквернения святыни. Храм боится потерять возможность наживаться на человеческом потоке, который делает Фудзи золотоносной горой, пусть даже она при этом становится похожей на свалку.

Восхождение начинается покупкой посоха с бубенцами. За каждое выжженное клеймо нужно доплачивать, так что в итоге он обходится владельцу в четыреста иен. Если вспомнить, что на гору поднимаются двести пятьдесят тысяч человек в год, уже одно это даст сто миллионов! На вершине храм бойко торгует сувенирами, открытками, кока-колой по шестикратной цене. На станциях путникам предлагают пиво («Имейте в виду: чем выше, тем дороже»).

Но, подсчитывая барыши, храм с растущим беспокойством оглядывается на бурную активность туристских фирм. Чего только не предпринимают они, чтобы вывернуть карманы экскурсантов еще у подножья! Возле автобусных остановок выстроили целый городок аттракционов и макет Фудзи в одну тысячную натуральной величины. Священная гора не любит показываться людям (из Токио, например, она бывает видна в среднем лишь двадцать два дня в году). Те, кому не повезло с погодой, могут сняться на фоне макета — никто не отличит.

Ведущие фирмы соревнуются в строительстве платных автомобильных дорог по нижней, более пологой части склона. Если следом появятся фуникулеры, храм с его бизнесом окажется вытесненным на небеса.

Судебное дело на право владения вершиной Фудзи как раз и возбуждено храмом с целью оградить себя от конкуренции священным правом частной собственности (уповать на него, видимо, надежнее, чем на силу религиозных чувств).

Окружной суд решил дело в пользу храма, оставив во владении государства лишь один процент территории выше восьмой станции. Правительство, однако, тут же обратилось в верховный суд, и, надо полагать, добьется своего. Ибо вершина номер один, помимо всего прочего, имеет в наш век еще и военное значение.

Белый купол метеостанции делает ее похожей на астрономическую обсерваторию. Но стоит там не телескоп, а параболическая антенна одного из самых высоких в мире радаров. Отсюда смотрят не на звезды, а шарят восьмисоткилометровым лучом по тихоокеанским просторам. Отсюда можно обнаружить око очередного тайфуна за двадцать часов до того, как бедствие обрушится на побережье.

Радар, смонтированный на вершине Фудзи, стал центром всех метеостанций страны. А служба погоды в Японии — почетнейшее дело. Поэтому за трудом и бытом шести человек, посменно зимующих на горе, следили с теми же чувствами, что у нас за полярниками на дрейфующей льдине. Тридцатиградусные морозы, разреженный воздух, снежные бураны, из-за которых врач вынужден по радио лечить тяжелобольного, — вся эта героика стала темой множества репортажей и очерков.

Но вот о куполе на гребне вулканического кратера заговорили совсем с другим чувством. Выяснилось, что управляемый из Токио по радио радар передает копию изображения со своего экрана на американскую базу в Йокосуке, которая обслуживает метеосводками корабли 7-го флота и дальние бомбардировщики Б-52, участвующие в боевых действиях против Вьетнама.

Когда-то вершина Фудзи служила главным ориентиром для американских «летающих крепостей», бомбивших японские города. Теперь ей выпало ориентировать убийц другого азиатского народа.

Местные старожилы помнят со слов своих дедов приметы приближающегося извержения. Но нынешнее поколение окрестных жителей научилось распознавать приближение бедствий иного рода.

Корея, Лаос, Вьетнам — каждой кровавой авантюре американской военщины в Азии предшествовали репетиции на восточном склоне Фудзи. Перед корейской войной именно здесь испытывалась эффективность напалмо-

вых бомб. Потом заповедные леса и взгорья облюбовали для себя «специалисты по антипартизанским операциям» из 3-й дивизии морской пехоты США. Склоны священной горы стали местом, где совершенствуются в своем ремесле профессиональные каратели.

Не забуду искру тревоги, метнувшуюся по тропе еще в самом начале восхождения, когда со стороны восточного склона вдруг послышался тяжелый грохот.

— Нет, это не обвал, это стреляют американцы, — успокаивали проводники.

Но бесконечная вереница людей, словно по команде, остановилась. Все разом обернулись к подножью, всматриваясь в облачка разрывов. Сколько боли и гнева было в этих взглядах!

Сезон восхождений длится всего два месяца — июль и август. Но как раз летом восточная тропа к вершине то и дело оказывается перекрытой из-за стрельбы. Да что там тропа! Американские военные власти наложили запрет на реконструкцию шоссе, огибающего Фудзи с востока, — нечего, мол, экскурсантам смотреть, как поблизости тренируются «специалисты по антипартизанским операциям».

Как-то осенью мне довелось проехать по этому шоссе. Оно опоясывает гору, соединяя, как жемчужины ожерелья, пять озер, лежащих у ее подножья.

Автобус мчится среди просвеченных солнцем лесов. Бархатные бабочки кружатся над нетронутой травой опушек. Прямо к бетону дороги клонит колосья дозревающий рис. Женщины срезают и укладывают в корзины тугие мутные гроздья винограда.

Но все это лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет главное — Фудзи. И все ее сто лиц, раскрывающиеся одно за другим, как на картинах Хокусаи, действительно неповторимы.

То она предстает перед глазами, как серый призрак, плавающий в дымке утреннего тумана, то щедро удваивает свою красоту в глади озер, то — после заката — докрасна раскаляет края своего кратера отблесками ушедшего дня.

— Фудзи — это вулкан правильной конической формы, самая высокая и самая красивая гора в Японии...

Девушка-экскурсовод смущенно опускает на колени микрофон. Да, человеческие слова здесь слишком бедны. Но легко ли найти другие, легко ли объяснить, почему

столь знакомая, даже примелькавшаяся на открытках, веерах, вазах, картинах гора, представ перед глазами, заставляет сердце учащенно биться?

Чем же больше всего впечатляет Фудзи? Может быть, сочетанием своего величия с гордым одиночеством? Первая вершина Японии возвышается как бы на ровном месте. Горы вокруг есть, но небольшие и стоят на почтительном расстоянии, не решаясь заслонить, исказить ее безупречных очертаний.

Фудзи волнует своей картинностью в благородном смысле этого слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искусства...

Автобус вдруг резко тормозит, прижимаясь к обочине. Из-за поворота вырывается колонна буро-зеленых грузовиков с зажженными фарами. Они вихрем проносятся по оцепеневшему шоссе. В глазах остаются только огромные белые буквы, написанные на каждой машине: «Боеприпасы».

Хочется зажмурить глаза, хочется убедить себя в том, что это могло лишь привидеться на дороге, проложенной ради того, чтобы священная гора раскрывала перед человеком свои сто лиц.

Фудзи — она по-прежнему передо мной, но как раз к ней-то и свернули грузовики со снарядами. Там, на фоне воспетых поэтами склонов, колышется на шесте звездно-полосатый флаг. У поворота на проселок, где еще не улеглась пыль, белеет щит: «Американская зона. Вход воспрещен японским законом».

Парни с нашивками «Морская пехота США» в такой же степени символизируют политику американской военной в Азии, в какой Фудзи — Японию. Что толку вести многолетнюю тяжбу, кому принадлежит народная святыня — храму или государству, если как раз она стала местом, где беззастенчиво попираются суверенные права нации? Как бы ни больно было японцу видеть рану, все глубже рассекающую западный склон Фудзи, терпеть бесчинства янки на восточном склоне еще тяжелее. Придет время, и другой суд — суд истории вынесет на сей счет свой приговор.

Я был на Фудзи в день, когда местные жители сорвали назначенные там американцами ракетные стрельбы. На полицейские цепи, преграждавшие доступ на полигон, двинулась колонна крестьянок. Женщины запели песню о всенародной любви к священной горе — песню, кото-

рую каждый японец еще в колыбели слышит от своей матери. И строй вооруженных людей в касках, которым по роду службы меньше всего свойственно поддаваться чувствам, дрогнул и отступил.

Окрестные земледельцы, проникшие к мишеням с плакатами: «Фудзи не будет полигоном вьетнамской войны», стали таким же воплощением национального духа, как и сама гора.

Заморские туристы, что приезжают развлечься в Токио, жадно накладываются на сувениры с контуром Фудзи. Для них это марка местной экзотики, вроде наклейки на чемодан.

Да, Фудзи и сегодня остается национальным символом Японии. И будь жив Хокусаи, он написал бы ее сто первый лик. Он изобразил бы не только воронки на теле горы, но и крестьянок, бесстрашно усевшихся на стрельбище. Он напомнил бы, что израненная, но не попрунная святыня, символизирующая собой японский народ, — вулкан дремлющий, но не потухший; вулкан, который способен показать свою могучую силу.



Я закрываю глаза и восстанавливаю образ индустриальной Японии, «европейской», колонизаторской Японии: я вижу первомайские токийские манифестации рабочих, слышу поступь рабочих союзов в красных и белых плакатах; я вижу этих маленьких людей, имеющих — на глаз европейца — одно лицо; я слышу гудки пароходов, фабрик, заводов, паровозов; я обоняю каракатический запах туши в банкирских и заводских конторах; мне кажется, я вижу голые нервы; страна маленьких, черных людей, крепких, как муравьи, эта страна живет очень крепко, очень упорно — тем, чем живет всякая капиталистическая страна, — и как в каждой капиталистически феодальной, империалистической, колонизаторской стране, слышны хрюски рабочих мышц, сип машин и видны зори революций, — слышны крики феодальных осыпей, шепоты преданий старых замков.

Б. Пильняк, Корни японского солнца.
Ленинград, 1927



Японцы странный народ. Они падки до нового в деловой жизни, но консервативны во вкусах и привычках. Они пытливы и скрупулезны в области своей профессии, но небрежны к назначенным встречам, так как мало ценят время. Они прилежны в работе, но очень легко относятся к деньгам и транжируют свои трудовые зара-

ботки на какие-то ребяческие забавы. Под личиной современной цивилизации японцы остались теми же простодушными сентиментальными людьми, какими были всегда. Им присущ артистический темперамент, и они доныне готовы ставить искусство прежде науки.

Ивао Мацухара, Жизнь и природа Японии,
Токио, 1964



Относительно душевных качеств японцев мнения европейцев широко расходятся. Человек, путешествующий ради собственного удовольствия, проведя среди японцев несколько счастливых месяцев, вряд ли скажет о них что-нибудь плохое. Но старожил-коммерсант, у которого за плечами столько же десятилетий, сколько у туриста месяцев, вряд ли помянет их только добрым словом.

Вообще говоря, наиболее выпуклые черты японского характера — это верность, преданность, стойкость, самоуверенность, предпримчивость, невозмутимость, любовь к природной красоте, учтивость, выносливость, чистоплотность и счастливая способность извлекать все лучшее из радостей жизни. Теневые же стороны — тщеславие, мстительность, безжалостность, недостаток искренности, правдивости, а также целомудренной воздержанности (последнее касается лишь мужчин).

Джозеф Лонгфорд, Япония и японцы. Лондон, 1912



Одной из поразивших меня вещей было сходство Японии с Италией. Если китайцев можно сравнить с немцами, то японцы — это итальянцы Востока. Налицо тот же контраст расчетливости и безалаберности. Подобно итальянцам, японцы смешливый, легкомысленный народ, для которого жизнь стоит так мало, что смерти нечего страшиться. Они тоже дети природы по своим манерам, но коварны, мстительны и хитры в сделках. Они тоже прирожденные артисты, с присущей художественному темпераменту леностью. Их бедняки, если не считать одежды, чем-то напоминают итальянских.

К. Р. Стрэттон, Живописная Япония, 1910



Не касаясь того, что после войны между американцами и японцами существовали взаимоотношения победителей и побеждённых, что всегда затрудняет взаимопонимание, есть много причин, по которым даже в наиболее благоприятных обстоятельствах японо-американское сближение имело бы мало шансов на успех. С одной стороны перед нами Америка, страна пуританских традиций; прямых, практических людей, лишенных подлинного, постоянного интереса к искусству и духовным ценностям вообще; людей, всегда готовых разрубить gordiev узел. С другой стороны перед нами Япония, чей народ является столь же языческим, как древние обитатели Средиземного моря; люди, которые всегда склонны рассу-ж-

дать терминами настроения и повиноваться обстоятельствам; чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции, обостренно чуткий ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам; люди, которые, оказавшись перед гордиевым узлом, всегда предпочтут не рубить его, но завязать вокруг него новый, более крупный, и таким образом скрыть его из виду. Перед нами, по существу, два подхода к жизни, которые столь глубоко несхожи, что трудно даже представить себе более разительный контраст.

Фоско Мараини, Встреча с Японией. Рим, 1959



За последние сто лет дважды считалось, что старая Япония исчезла бесследно и дважды Запад ошибался в этом: как во времена революции Мэйдзи, так и после второй мировой войны. Многим в США казалось, что годы оккупации полностью переделали Японию на американский лад. Сколь наивной оказалась эта иллюзия!

Я не хочу сказать, что старая Япония сохранилась неизменной. Разумеется, нет. Дело обстоит гораздо сложнее. Старую Японию уже нельзя найти в чистом виде, так же, как никогда не будет новой Японии, полностью отрезанной от прошлого.

Робер Гиллен, Япония. Париж, 1961



Под воздействием внешних влияний оказались стертными такие традиционные черты японского характера, как стремление подавлять личные интересы; считать личную выгоду социальным злом. Ослаблены и продолжают слабеть такие черты, как покорность вышестоящим; нежелание брать на себя дополнительную ответственность; привычка видеть в потреблении сверх насущных нужд нечто греховное; неоправданное преклонение перед всем подлинно японским; наконец, эмоциональный взгляд на мир, оценивающий красоту и гармонию превыше функции и этики.

К старым чертам, которые остались более или менее неизменными, относятся прилежание, честолюбие и способность стойко переносить трудности.

Б. Мэнт, Ф. Перри, Японцы как потребители.
Нью-Йорк, 1968



Долг перед вишнями

За годы журналистской работы в Токио мне часто вспоминались слова Маяковского, который считал себя в долгу

...перед вишнями Японии,
перед всем,
о чем не успел написать.

Постоянная гонка за текущими событиями политической и общественной жизни почти не оставляет зарубежному корреспонденту времени для обстоятельного рассказа о самом народе, о чертах его портрета. Перелистываешь потом объемистые папки переданных материалов и с горечью убеждаешься: за шесть с лишним лет так и не успел толком ответить на вопрос: что же они за люди — японцы?

Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины. Да и то плохое, что мы привыкли слышать о японцах, в целом соответствует действительности и нуждается скорее в объяснении, чем в опровержении. Однако если отрицательные черты японской природы известны нам процентов на девяносто, то положительные лишь процентов на десять.

Приходится признать, что мы в долгу перед цветущей сакурой, которую японцы избрали символом своего национального характера.

Каково подлинное лицо народа, для портрета которого иностранные авторы часто использовали лишь две краски: либо розовую, либо черную; расписывая либо гейш в кимоно, либо самураев, делающих хакакири?

Разумеется, положительная или отрицательная оценка той или иной черты в какой-то степени относительна, субъективна.

Американец, к примеру, скажет:

— Японцы предприимчивы, но непрактичны. При своих скромных доходах они слишком беспечно относятся к деньгам.

Немец добавит:

— И ко времени тоже. В работе они умеют быть четкими, но в быту отнюдь не пунктуальны. Им как-то не хватает собранности, умения вести себя в рамках разумного.

Против этого трудно возразить. Хотя русской натуре импонирует как раз то, что японцы даже при бедности не мелочны, при организованности — не педантичны; что они не любят подчинять душевные порывы голосу рассудка.

Японцам присуща широта природы в сочетании с обо-

странным чувством собственного достоинства. Пожалуй, наиболее заметно это в отношении людей к деньгам. Японец всегда старается подчеркнуть, что равнодушен к ним (может быть, даже больше, чем на самом деле). Даже дотошные домохозяйки не станут пересчитывать сдачу: это не принято. Если пятеро рабочих найдут выпить пива, расплатится кто-нибудь один, и никто не будет всучивать ему потом свою долю: «немецкий счет» здесь немислим. Мелочность, а тем более скаредность в представлении японцев — едва ли не главный из пороков.

Народу чужды угодливость и подобострастие. Японец замрет в глубоком поклоне там, где, по его представлению, того требует этикет. Но он не станет пресмыкаться перед обладателем тугого кошелька. Заезжих иностранцев Япония больше всего поражает как единственная капиталистическая страна (и притом страна азиатская), где не берут чаевых. Шофер такси, разносчик из лавки вручит сдачу до последней монетки и поблагодарит. Японским дельцам не занимать алчности у зарубежных конкурентов. Однако если взять народ в целом, то его отличает даже не просто честность, а какая-то моральная чистоплотность в отношении к деньгам.

В разговоре об отрицательных чертах японцев русский человек чаще всего посетует на их непрямоту, на недостаточную искренность в нашем понимании этого слова. Но, узнав народ ближе, вникнув в своеобразие его моральных норм, приходишь к убеждению, что у японцев можно поучиться именно культуре человеческих взаимоотношений, умению людей взаимно оберегать самолюбие и достоинство друг друга.

В своих поступках японец чаще руководствуется интуицией, чем логикой. Свообразие его противоречивого характера легче почувствовать, чем объяснить. С учетом этого я и старался вести рассказ о нашем дальневосточном соседе.

Япония для советских людей не просто одна из многих зарубежных стран. Природа поселила нас бок о бок. А кому неизвестна истина: у соседа могут быть свои взгляды, склонности, привычки, но, чтобы ужиться с ним, надо знать его характер.

Постараемся же ближе познакомиться с народом, который связывает собственные душевные черты с образом цветущей вишни.

ЧЕЛОВЕК С ВНИМАТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ

(Послесловие)

Итак, вы прочли эту увлекательную книгу и, я уверен, с сожалением перевернули ее последнюю страницу; ее автор не только пробудил у вас неистребимый интерес к Японии и японцам, к их образу жизни, складу ума и характеру — он сам вызвал у вас симпатию. Я уверен, что отныне вы не раз будете спрашивать в книжном магазине или в библиотеке, что еще написал Всеволод Овчинников.

Дружески беседуя с вами, он поведал о множестве вещей, не только рассказал о них, но и показал их; перед вами прошли разнообразнейшие картины, отразившие самые различные аспекты и нынешней, ультрасовременной Японии, и Японии старинной, но прежде всего «японской Японии», как выразился автор, — той, что почти не подвержена переменам и присутствует всегда и во всем, сохраняя свое своеобразие и индивидуальность.

Вы знаете теперь и о жизни японцев, об их заработках; о том, чем пахнут по вечерам улицы их городов; о том, как эти люди работают, любят, дружат; об их утонченной вежливости; о технологическом прогрессе промышленности Японии; о ее искусстве, древнем, как мир, и современном, как электроника; о японской кулинарии, следующей девизу «Не сотвори, а найди и открой»; о том, какую роль в жизни этих людей играют цветы и чай; о неприхотливости и в то же время изысканности японского быта; о культуре поклонов и извинений; о японской верности как долге признательности; о совести и самолюбии как долге чести, о том, как японец ограничивает себя, и о том, какие неожиданные и порой отвратительные послабления допускает его мораль.

И все это не какая-либо дань этнографии или экзотике, какую иной раз платят литераторы в погоне за занимательностью или оригинальностью. Нет. Разглядывая своим внимательным взором сложные переплетения жизни, обычаев, человеческих отношений в этой древней и вместе с тем молодой капиталистической стране Востока, Всеволод Овчинников ищет и находит ответы на многие сложные вопросы, которые живо интересуют его как политика, международного: почему так, а не иначе сложилась современная история Япо-

нии, правящий класс которой претендует на господствующее положение в Азии, да и не только в Азии.

И еще: не будем забывать, что Япония, как и всякая капиталистическая страна, делится на противоборствующие классы и что марксисты никогда не отождествляли с жестокой и коварной правящей верхушкой империалистических держав широкие народные массы, угнетаемые ими, — именно им, этим массам, принадлежит будущее, и именно они воплощают в себе черты национального первородства, хотя и на их сознание, на их психику оказывает свое губительное, уродующее воздействие строй эксплуатации и угнетения.

Всеволод Овчинников, публицист правдистской выучки, всегда помнит об этом. Вот почему его книга проникнута глубоким интересом и подлинной симпатией к десяткам миллионов японцев.

Чтобы глубже проникнуть в самую суть сложных процессов, происходящих в Японии, нужно постигнуть не только то, что происходит в сфере экономики и политики, но и национальный характер японца — тот характер, который, как образно сказал автор этой книги, «можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его... Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохранятся очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям».

В том, что дело обстоит именно так, автор убеждает нас не только своими собственными рассуждениями и собранным им обильным фактическим материалом; он подкрепляет их огромным количеством свидетельств многих людей с таким же внимательным взглядом, извлекая доньше звучащие свежо и современно мысли и утверждения из произведений, подчас написанных столетия тому назад.

Так, сообщения «Правды» шестидесятых годов двадцатого века органически сплавляются с высказываниями легендарного Марко Поло из его «Путешествия» — а это год одна тысяча двести девяносто восьмой, — с памятной запиской для московского посла в Пекине Николая Сафария, сочиненной в одна тысяча шестьсот семьдесят пятом году, с необычайно интересными «Записками капитана В. М. Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах» — кто из нас не зачитывался в молодости ими? — и с великим множеством стародавних манускриптов, и с более близкими к нашей эпохе трудами, и с несметным богатством свидетельств наших современников, выдержки из коих столь щедро рассыпаны по страницам «Ветки сакуры».

Легко себе представить, какой огромный труд потребовался для

того, чтобы на свет появилась эта книга. Такой труд по силам не каждому, он требует особого творческого склада, требует одержимости в лучшем смысле этого слова — подлинной увлеченности замыслом. Ну что ж, Овчинникову это по плечу.

Поразительно жаден до жизни этот человек! Я, пожалуй, еще ни разу не встречал столь трудолюбивого журналиста. Подумать только: за годы работы в «Правде» он сумел, как никто другой, изучить Китай, потом Японию, а затем, когда неисповедимые редакционные пути привели его на европейский плацдарм, он начал с той же методичностью и упорством вгрызаться в совершенно новый — уже третий по счету! — каменный слой познания. Правда, главные интересы его остались все же на Востоке.

Впервые я увидел Всеволода Овчинникова без малого два десятилетия тому назад, когда он, будучи совсем молодым человеком, с группой стажеров, набранных нами из выпускников московских учебных заведений, впервые вошел в наш редакционный зал совещаний. Стажерам предстояло начинать с азов, и мы, старшие их товарищи, в меру своих сил и возможностей помогали им делать первые шаги в журналистике.

Молодые люди, что называется, приплыли ко двору. Сегодня почти все они в строю правдивосте; у каждого свой почерк, свой характер, свои литературные вкусы и привязанности. Но умение и вера в себя пришли не сразу. Были раздумья: какой путь избрать, как и о чем писать, к берегу какой страны или континента держать курс. А вот у Всеволода все определилось сразу: прежде всего — Восток!

Ему было в ту пору всего двадцать шесть лет. Но жизнь его сложилась сурово. Он прошел трудную школу. Овчинников принадлежит к тому поколению, которое вступало в сознательную жизнь под грохот артиллерийских залпов и бомбовых ударов второй мировой войны. Он был школьником в Ленинграде, когда началась эта война. Страшная блокадная зима 1941/42 года, потом эвакуация с семьей в далекую Сибирь. Работа в сочетании со школой, учеба в армии — вот только повоевать не пришлось! — и, наконец, институт, изучение трудного китайского языка, диплом с отличием и сразу же — «Правда».

Как уже было сказано, главное направление в творчестве этого будущего журналиста-международника определилось сразу. Что же касается манеры письма, которую он избрал, то вот она: сплав публицистики и художественной прозы, органическое соединение точности мысли и образности языка.

Овчинникова послали в Китай. Там он почувствовал себя как рыба в воде. Сразу ушел на большую глубину. Копил драгоценный груз наблюдений, испещряя десятки записных книжек своим акку-

ратным почерком. Я с удовольствием вспоминаю, как он водил меня в 1956 и 1957 годах по улицам Пекина и рассказывал десятки интереснейших историй, каких не прочтешь в книгах.

А потом была Япония. Вы представляете себе, как это было трудно: из одного сложнейшего азиатского мира перейти в другой, не менее сложный. Я, честно говоря, даже опасался тогда: удастся ли Всеволоду этот искус; по собственному опыту знаю, каким трудным бывает такое переключение после того, как ты свыкся со своей первой зарубежной страной. Но вот прилетаю в Токио и вижу, что Овчинников снова на коне. Мы бродим с ним по Гиндзе, летим в Осаку, он водит меня по Хиросиме, и я убеждаюсь, что и Япония стала для него открытой книгой. Теперь он возмужал, набрался опыта. Его работы и с точки зрения литературной формы приобрели большую значительность.

Главы из «Ветки сакуры» были опубликованы в журнале «Новый мир». Тогда вся читающая Москва — без преувеличений — увлеклась ею. Десятки людей спрашивали меня: «Кто этот автор?», «Наверное, он всю жизнь прожил в Японии?», «Как ему удалось так глубоко изучить духовный склад японского народа?» И мне доставляет большое удовольствие рассказывать, что автор «Ветки сакуры», не какой-нибудь специалист-этнограф, и вовсе не книжный червь, и даже не токийский старожил, а просто-напросто толковый советский журналист, человек с внимательным взглядом и великий труженик, умеющий собирать камушек за камушком, чтобы потом творить из них свою великолепную мозаику.

Хочу добавить, к сведению любителей овчинниковского литературного почерка, что в «Детгизе» совсем недавно вышла еще одна — небольшая по объему, но какая емкая по содержанию! — работа Овчинникова «Тени на мосту Айои» — о Хиросиме. В ней они найдут еще одно свидетельство того, как важно для журналиста это мастерство собирать камушек за камушком. Казалось бы, о Хиросиме уже написано и рассказано столько, что невозможно добавить к этому что-то новое. Но вот вы раскрываете эту тоненькую книжечку в черной обложке, начинаете читать, и вас сразу же, словно магнитом, притягивают десятки поразительных, совершенно новых для вас деталей, из которых складывается это лаконичное и в то же время очень глубокое повествование. Ни грана патетики, ни капли литературного глицерина. Только детали. Только факты.

...У Овчинникова уже засеребрились виски — на газетной работе время летит стрелой. Он уже стал ветераном «Правды». Но перо его остается молодым, оно стало даже острее, чем было раньше. И я уверен, что он еще много раз порадует читателей своими отличными выступлениями.

ЮРИЙ ЖУКОВ

Содержание

ИХ ВКУСЫ

Страницы из дневника	5
Нужен путеводитель	13
Капли с копыа Изагаги	18
Эстетика вместо религии	26
Керамисты и кулинары	30
Четыре мерила прекрасного	38
Обучение красоте	45
Цветы и чай	51

ИХ МОРАЛЬ

Всему свое место	59
Верность — долг признательности	66
Совесть и самолюбие — долг чести	71
Область ограничений и область послаблений	76
Корни двойственности	81
Культ поклонов и извинений	84
Почему молчание красноречивее слов	89

ИХ БЫТ

В тени под навесом	95
Дверь в подлинную Японию	103
Шесть татами	106
Полутораэтажный Токио	111
Жизнь на колесах	119

ИХ ТРУД

Скученность и простор	123
Маршрутом художника Хиросиге	131
Женщина в кимоно	142
Гейша	146
Девичьи руки	150
Рождение жемчужины	155
Миллион миллионеров	168

ИХ ПОМЫСЛЫ

Купите счастливый сон	174
Власть голубых теней	181
Слезы экрана	186
Дзимму верхом на коне	193
Тайна «Осенних вод»	197
Зачем воскрешают богов	201
Восхождение на Фудзи	204
Кому принадлежит святыня?	208
Долг перед вишнями	215
Человек с внимательным взглядом (послесловие)	218

Овчинников Всеволод Владимирович

ВЕТКА САКУРЫ. М. «Молодая гвардия»,
1971.
224 стр., с илл.

32И

Фото автора.

Редактор *Я. Киселев*

Художник *И. Пяткин*

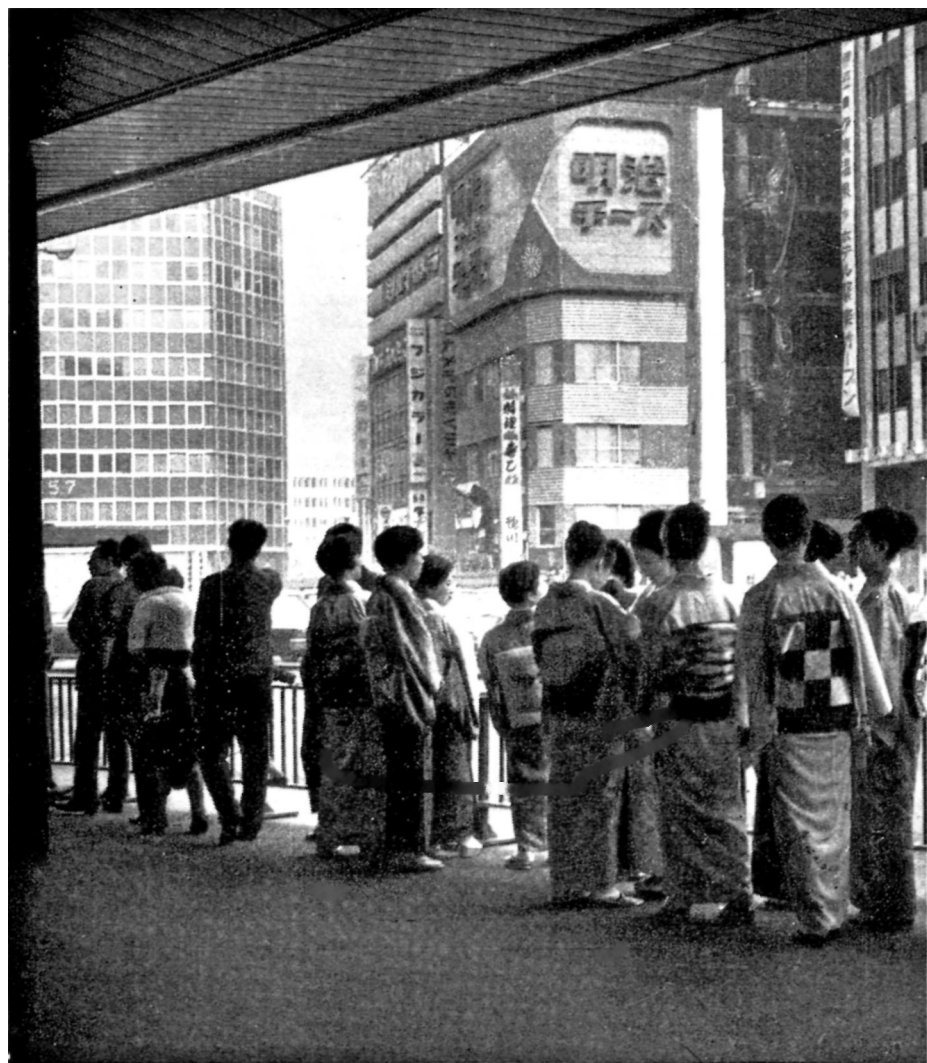
Худож. редактор *Н. Коробейников*

Техн. редактор *Н. Михайловская*

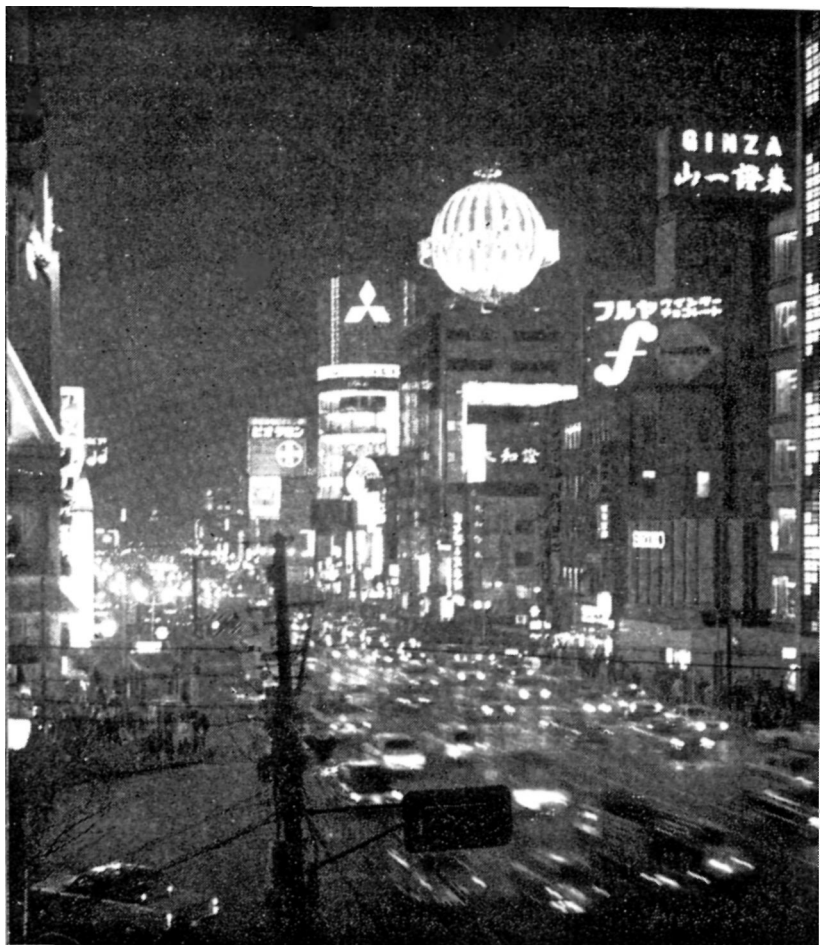
Корректоры *Н. Павлова, Г. Василёва*

Сдано в набор 2/VI 1970 г. Подписано к
печати 8/XII 1970 г. А00768. Формат 84X108¹/₃₂.
Бумага № 2. Печ. л. 7 (учл. П.76) + 16 вкл.
Уч.-изд. л. 14,4. Тираж 65 000 экз. Цена 72 коп.
Т. П. 1971 г. № 152. Заказ 1298.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.



Кимоно, покррой которых не меняется столетиями, соседствуют на улице с ультрасовременными фасадами из алюминия и стекла.

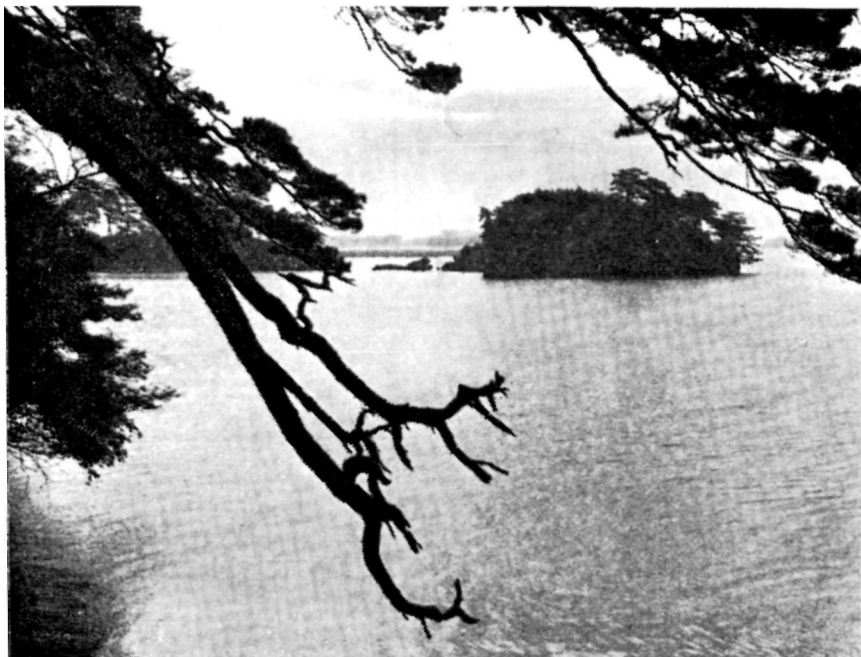


По яркости неоновое сияние Токио не уступает европейским столицам. Япония тратит на рекламу больше, чем Франция и Италия, вместе взятые.



Семилетние, пятилетние и трехлетние встречают праздник «Семь-пять-три» в традиционном наряде и причёске.

Сама природа учит здесь человека ценить и понимать прекрасное.



Показ новых моделей автомашин стал таким же ежегодным событием, как любование сакурой или осенней луной.

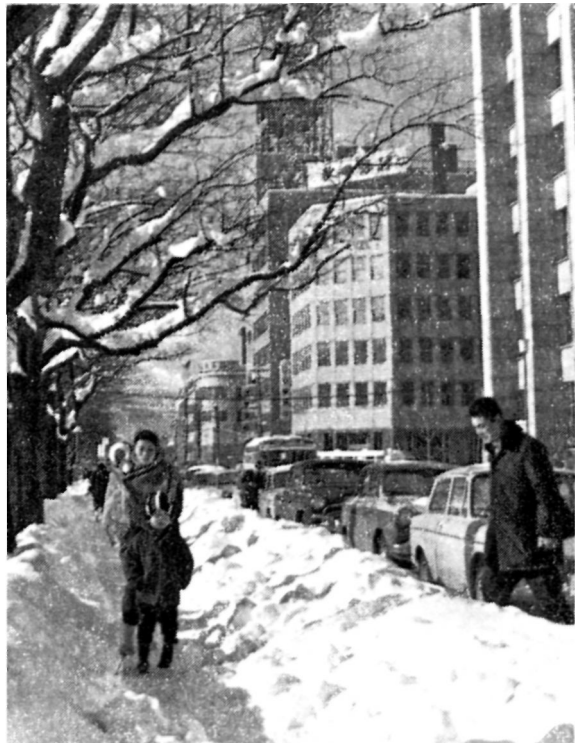




Любители кимоно есть и среди мужчин.



Сегодняшний день на каждом шагу встречается здесь со вчерашним.



Хотя Япония лежит на широтах Средиземноморья, на ее западном побережье выпадают глубокие снега,



Не хотите ли отведать ломтик сырой рыбы или осьминога?



Они умеют находить радость в близости к природе.

Такие ворота — тории — считаются национальным символом Японии.





По потреблению фотопленки на душу населения Япония стоит, наверное, на первом месте в мире.



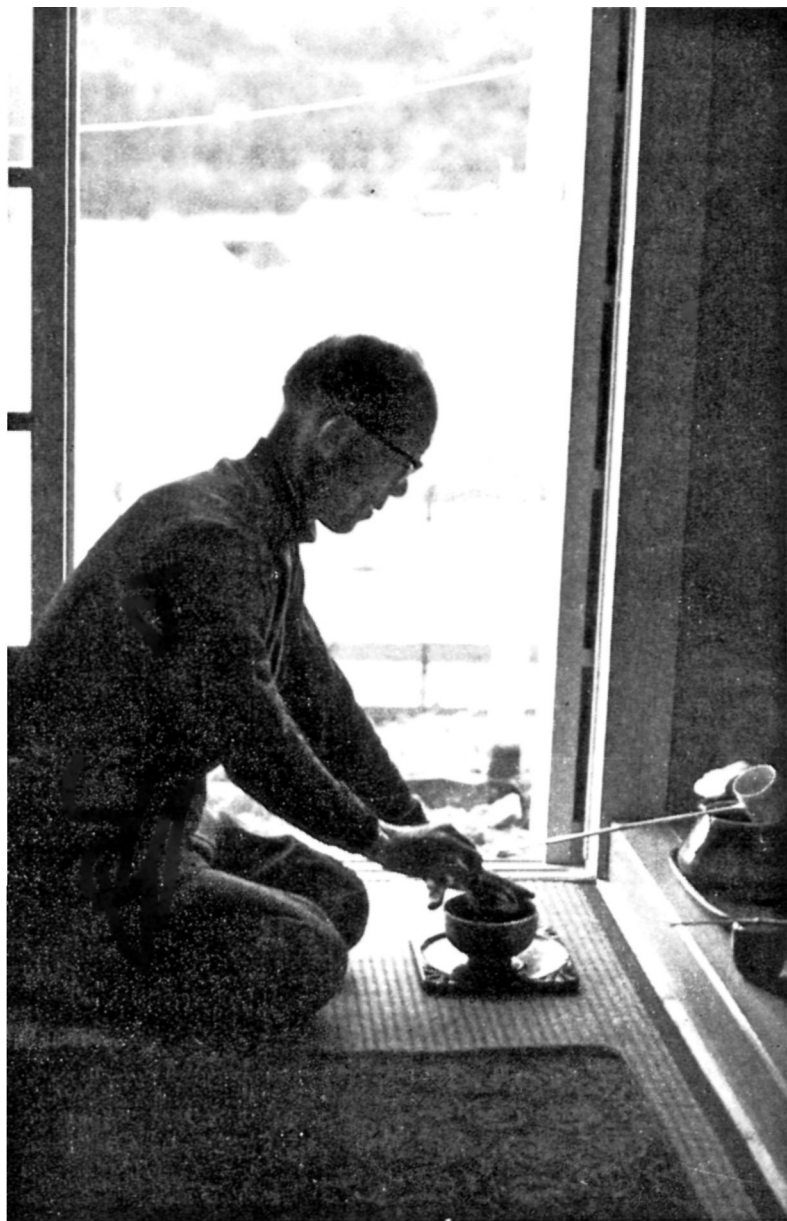
Прежде чем снять новобрачных, надо красиво усадить невесту в свадебном наряде.



В штабе бастующего профсоюза, как и в японском жилище, нет стульев — пикетчики предпочитают отдыхать на татами.



Почти каждая японка в течение двух-трех лет посвящает свой досуг занятиям в кружке икебана.



Сельский учитель, коммунист — он же знаток чайной церемонии — умеет находить прекрасное в обыденном.



Эти женщины только что провели героическую сидячую забастовку в подземном забое, где при взрыве рудничного газа погибли их мужья.



Цветение ирисов — это праздник для художников.

Школьники много рисуют — и преимущественно с натуры.



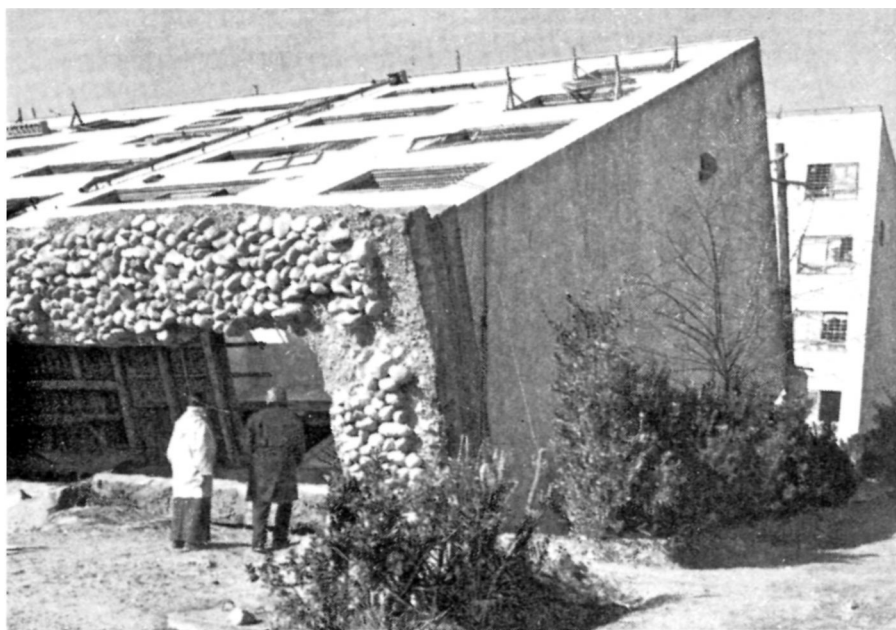


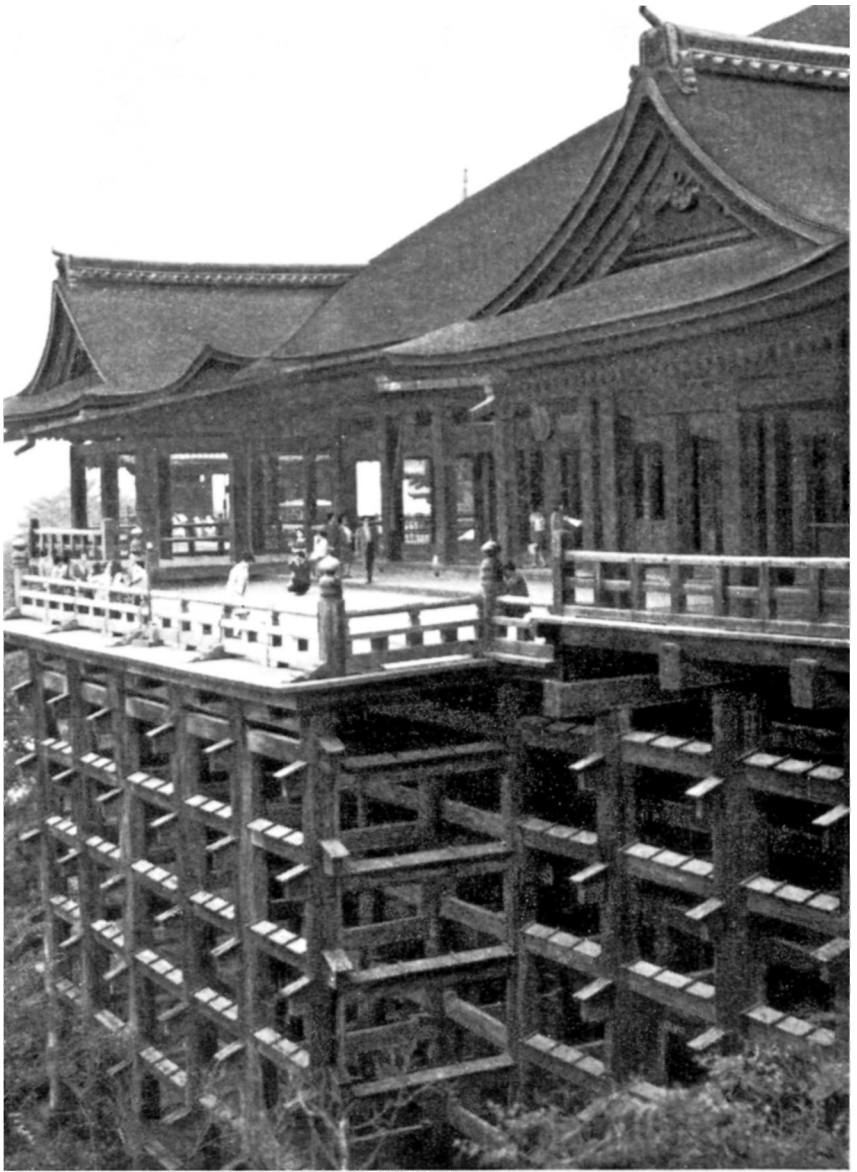
Оклеенные бумагой раздвижные перегородки; пол из татами, простеганных соломенных циновок, — такова внутренность японского жилища.



В основе своей традиционный японский дом — это навес.

Современные многоэтажные дома нередко заваливаются набок при подземных толчках.





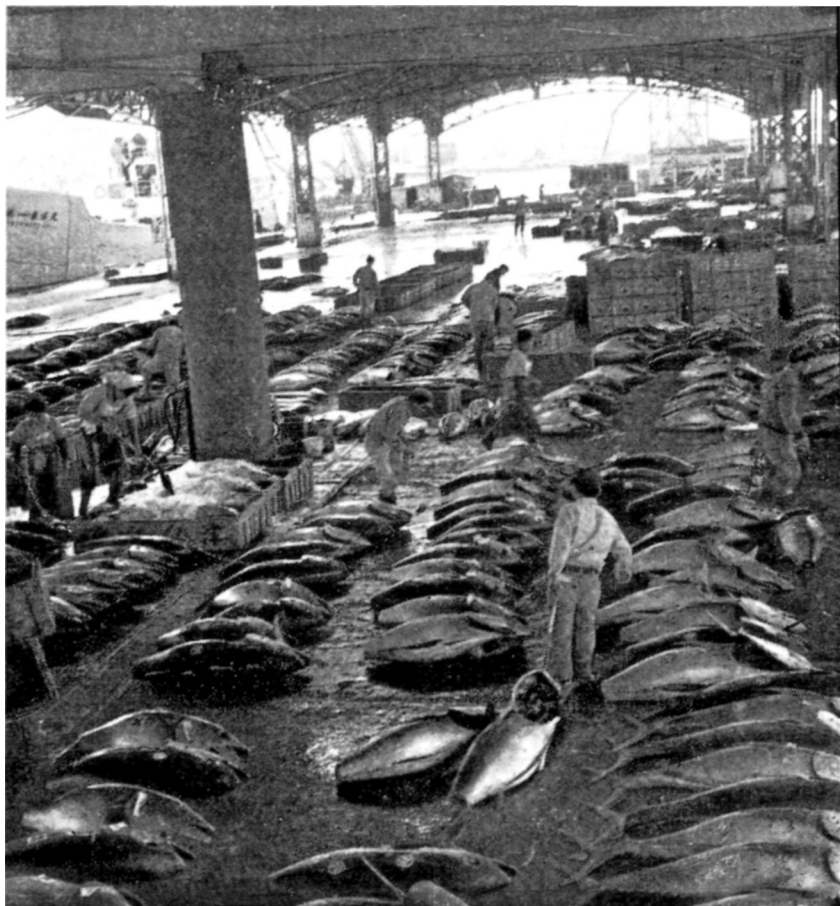
Древние японские строители создавали сооружения, не боявшиеся землетрясений.



Их руки сваривают борта гигантских танкеров.

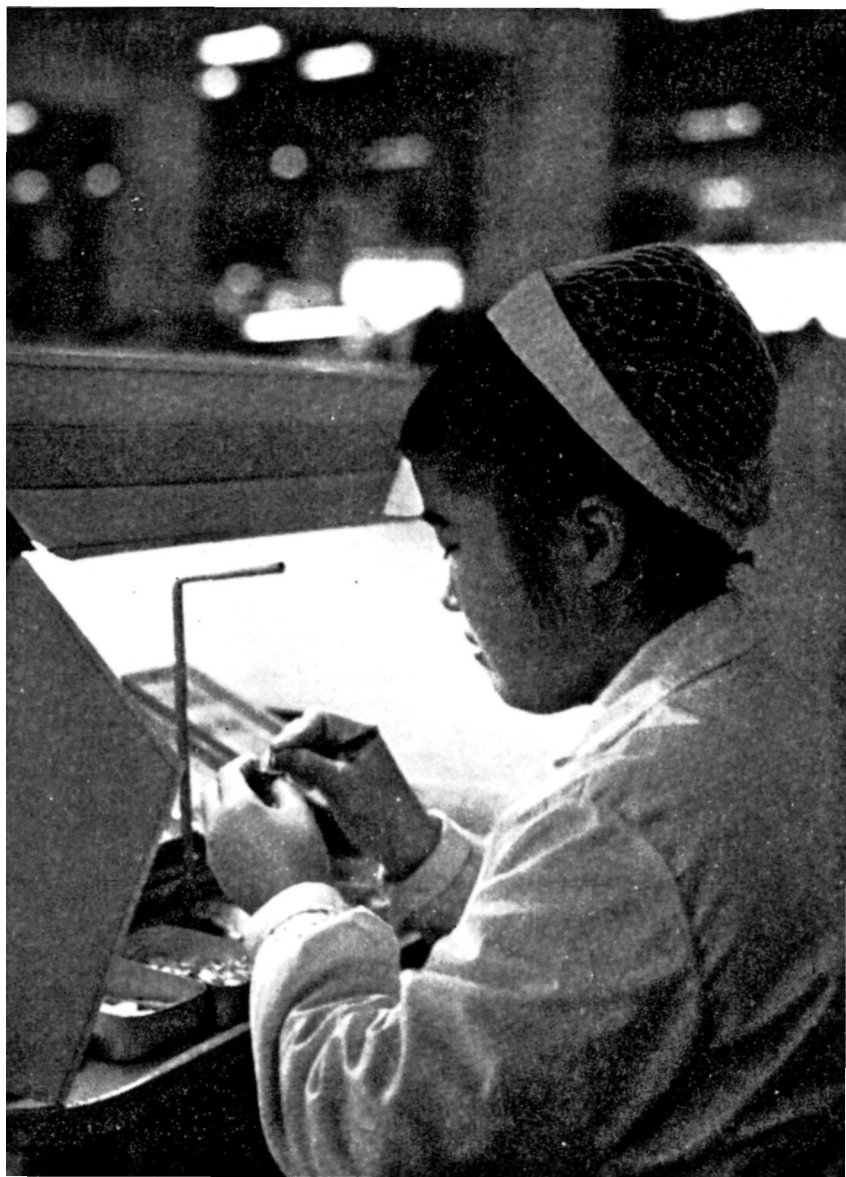


Из-за малоземелья люди вынуждены становиться пахарями моря.



Чтобы добыть эти тунцовые туши, надо уходить в океан иногда на целых полгода.

Девичьи руки — это они принесли Японии славу «царства транзисторов».





Все так же, как и тысячелетия назад, расшивают атласную гладь заливных полей зеленым узором рассады.



Случайный снег лег как ретушь, помогая увидеть, что нивы ухожены здесь, словно грядки.



Поля жмутся вплотную к селениям, селения — к горным склонам.



Есть люди, которые доньше ищут пропитания на морском дне. Это ама — ныряльщицы за раковинами.

Все чаще на месте кинотеатров открываются залы игровых машин.





Кимоно или платье?



Забастовщики.

На рабочем митинге.





Самый большой бумажный фонарик в мире.



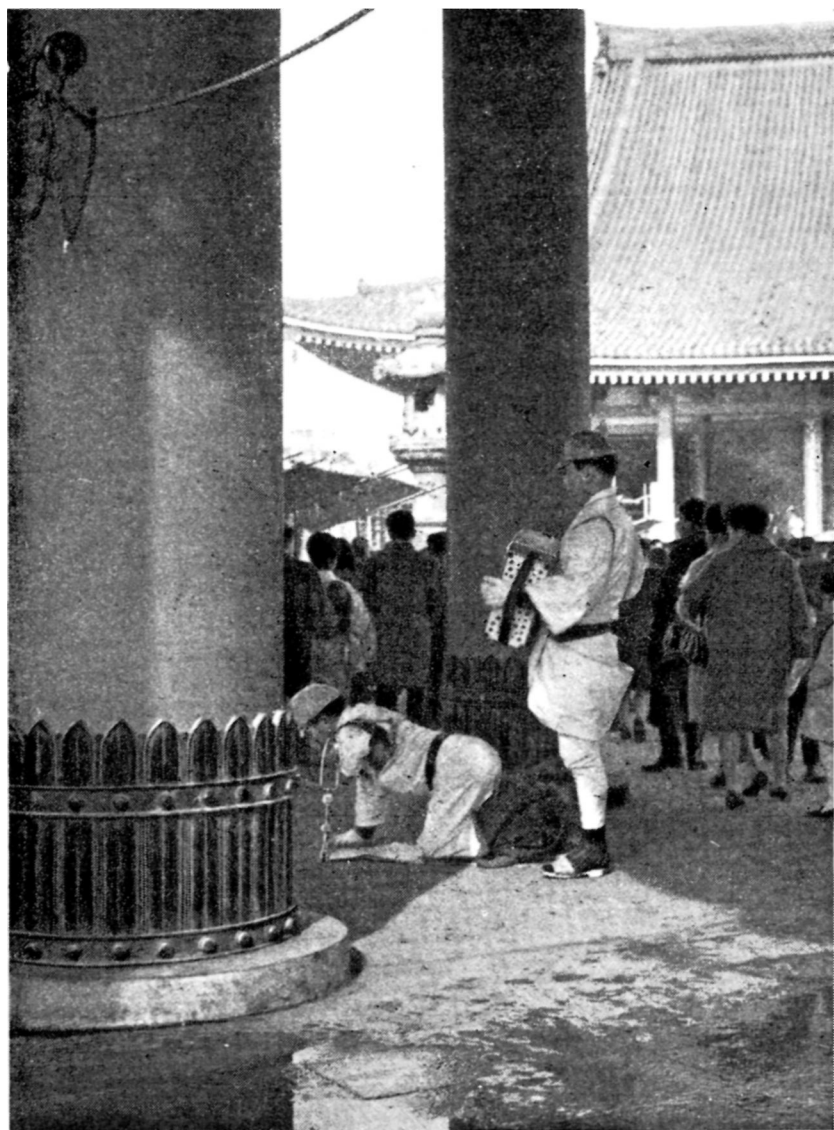
Перед демонстрацией надо составить текст листовки.



Студенческий пикет перед баррикадами из парт.



Послевоенная конституция запрещает Японии вооружаться. Однако под видом «сил самообороны» воссоздана армия, обладающая новейшей техникой, вплоть до ракет.



Три миллиона белых урн с прахом погибших, белые одежды инвалидов — вот чем пришлось расплачиваться народу за авантюры милитаристов.



Они требуют: «Прочь американские базы с японской земли!»